

The background of the book cover is a detailed painting of a young woman with long, flowing red hair, standing in a dark, wooded area. She is wearing a light-colored, off-the-shoulder dress with ruffles and gold trim. She holds a bouquet of flowers in her left arm. The scene is dimly lit, with light filtering through the trees. A small blue bird is visible in the background on the right.

АРТУР  
МЕЙЧЕН

*Холм грез*  
*Тайная слава*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Артур Мейчен

**Холм грез. Тайная слава**

«Азбука-Аттикус»

1904, 1922

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)-44

**Мейчен А.**

Холм грез. Тайная слава / А. Мейчен — «Азбука-Аттикус», 1904, 1922 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-23986-9

Артур Мейчен – великий романтик, один из основоположников мистического жанра. Среди многочисленных поклонников его творчества можно назвать Оскара Уайльда, Алистера Кроули, Говарда Филлипса Лавкрафта, Хорхе Луиса Борхеса, Стивена Кинга, Гильермо дель Торо... Артур Мейчен родился и вырос в Уэльсе, где, по словам Лавкрафта, «впитал в себя средневековую тайну темных лесов и древних обычаев». Возможно, отсюда эта неповторимая атмосфера мистического трепета, царящая во всех книгах писателя, чьи герои сталкиваются с мрачными загадками жизни и смерти... В настоящее издание вошли два романа Мейчена, которые условно можно назвать «автобиографическими». Их герои с самого детства чувствуют себя чужими в суматошном мире больших городов. Богатое воображение и писательский дар заставляют их искать убежище в грезах, где среди идиллической природы обитают странные, причудливые создания...

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-23986-9

© Мейчен А., 1904, 1922  
© Азбука-Аттикус, 1904, 1922

## Содержание

Холм грез	6
Предисловие	6
Глава 1	10
Глава 2	24
Глава 3	36
Глава 4	50
Конец ознакомительного фрагмента.	57



# Артур Мейчен

## Холм грез. Тайная слава

*Arthur*  
*MACHEN*  
1863–1947

Arthur Machen  
THE HILL OF DREAMS. THE SECRET GLORY

Перевод с английского и примечания Елены Пучковой



© Е. О. Пучкова, перевод, примечания, 2001, 2007  
© Издание на русском языке, оформление.  
ООО «Издательская Группа  
„Азбука-Аттикус“», 2023  
Издательство Азбука®

## Холм грез

### Предисловие

В 1895 году я наконец убедился или почти убедился в своем призвании. Уже более двенадцати лет я был, что называется, «профессиональным писателем». В 1883 году, пытаясь победить одиночество и бедность, я написал небольшую «Историю табака». В 1884-м – перевел «Гептамерон» Маргариты Наваррской, а 1885 и 1886 годы посвятил «Хроникам Клеменди», большому тому средневековых повестей. Еще один перевод – «Искусство достигать цели» Бериальда де Вервиля (имя этого автора звучит куда привлекательнее, чем того заслуживает его книга) – занимал мои вечера в 1888 и 1889 годах, тогда как в дневные часы я перекладывал на английский язык двенадцать томов воспоминаний Казановы.

В 1890-м я сочинял статьи и эссе, рассказы и заметки, а также всякий вздор для газет, от которых ныне уцелели лишь названия – «Глобус», «Сент-Джеймс газетт», «Вихрь»; сюда же можно приплюсовать «изящные вещицы» для вымирающего поколения журналов, адресованных читателям из так называемого хорошего общества. В 1890-м и 1891-м я писал «Великого бога Пана», в конце 1894 года эта повесть была напечатана и произвела некоторое волнение среди старых дев – как в прессе, так и за ее пределами. Весной и летом 1894-го я возился с «Тремя самозванцами», но книга, вышедшая осенью 1895-го, успеха не имела. И таким вот образом к концу 1895 года я убедился, что превращаюсь в «профессионального писателя», чье ремесло – создавать книги. И теперь мне следовало сесть за стол и написать еще одну книгу. Прекрасно! Оставалось только решить: какую?

И тут мне очень помогла неудача «Трех самозванцев». Как я уже говорил, эта книга осталась почти незамеченной, а если кто и обратил на нее внимание, то выразил резкое недовольство ею. Меня окрестили второсортным эпигоном Стивенсона. Не совсем заслуженно, но доля правды в этом была, и я счастлив сообщить, что сумел достойно встретить поражение. Мне надлежало исправиться, и я принял нужное решение. Я сказал моему другу, известному гражданину Америки А. Э. Уэйту: «Больше никому не буду предлагать белый порошок». В общем, мне удалось исполнить этот обет. Приходилось начинать все сначала, с чистой страницы, искать новую тему и новый стиль. Без белого порошка, без «чаши властителя бездн», без великого бога Пана, гномов, эльфов и прочих подозрительных персонажей, а также (и это оказалось сложнее всего) без размеренной, завершенной стивенсоновской речи, которой я научился владеть с известной сноровкой и легкостью. Кое-что я уже знал. Например, какую книгу я писать не буду. Оставалось решить, какую буду.

Эта проблема занимала мои мысли во время прогулок по сумрачному Блумсбери, как нельзя более подходящему для человека, стремящегося к сосредоточенному размышлению. Я только что перебрался на новую квартиру – в Вернлэм-билдинге на Грей-Инн. Теперь, пройдя по Теобальд-роуд, я сразу попадал в тот старинный серый квартал, где жизнь шла так же спокойно и тихо, как в маленьком провинциальном городке. Один серый квартал сменялся другим, тихие улочки, похожие, как близнецы, незаметно перетекали друг в друга – все здесь было достойно, солидно, шум больших улиц и людской суеты не нарушал покоя. Кто-то поднимался по ступенькам сумрачных старых домов, кто-то спускался, местные торговцы, все как один продолжатели семейного дела, старомодные, настойчивые и честные, спокойно и ненавязчиво предлагали свои товары. Тихий и умиротворенный Блумсбери помогал мне сосредоточиться, и в его серой тишине я напряженно пытался осмыслить стоявшую передо мной задачу.

Наконец я нашел решение. Оно пришло не изнутри и даже не из Блумсбери, оно было подсказано мне извне. Я почти уверен, что подтолкнуло меня предисловие к «Тристраму

Шенди», написанное известным и талантливым критиком Чарльзом Уибли. Определяя жанр этого шедевра Стерна, мистер Уибли заметил, что его можно назвать плутовским романом, посвященным приключениям ума, подобно тому как плутовской роман «Жиль Блас» посвящен приключениям тела. Когда я читал эту статью, противопоставление Уибли поразило меня, и вот теперь, ломая голову над книгой, которую мне предстояло написать, я припомнил его фразу и, применив ее к другому шедевр XVIII века, подумал: а почему бы мне не написать «Робинзона Крузо» – только такого «Робинзона Крузо», где героем будет не тело, но душа? Я пришел к выводу, что именно это мне и следует сделать, взяв за основу тему одиночества, страха и разобщенности; но от одиночества моему герою предстояло страдать не на необитаемом острове, а в дебрях Лондона: в одиночестве среди множества других человеческих существ. Моей темой должно было стать душевное одиночество. Океан, окружавший Робинзона Крузо и отделявший его от других людей, в моем романе должна была заменить духовная бездна. Я полагал, что эта тема подходит мне как нельзя лучше, ведь в таких делах у меня был собственный опыт. Два года я познавал одиночество в моей маленькой комнатке на Кларендон-роуд у Ноттинг-Хилл-Гейт, так что материала для книги было предостаточно. Словом, я крепко ухватился за эту идею и начал работать.

Пока еще не писать, но постоянно обдумывать книгу. Я брал ее на ночь с собой в постель, как ребенок, который не расстается с любимой игрушкой даже на время сна, я клал ее на стол возле утренней чашки чая, опять-таки подобно ребенку, сажающему на стол новую куклу рядом со своим блюдом. Идея романа и верный бульдог Джаггернаут стали моими постоянными спутниками во время прогулок по сумрачному Блумсбери и серым утром, и ранним вечером, когда начинало смеркаться и на город опускалась прохлада. Изредка я обедал с друзьями, но и тогда не расставался со своей идеей – я аккуратно укладывал ее в карман и то и дело вытаскивал, чтобы посмотреть на нее и убедиться, что она по-прежнему цела, по-прежнему со мной. Незаметно для моих сотрапезников я подливал чуть-чуть своей идеи в вино и подмешивал ее в соус. От этого вкус и запах вина и мяса необычайно выигрывали. Когда же на меня нападала скука и я лишался аппетита, одна-две столовые ложки моей будущей книги бесследно снимали хандру.

Потом я начал выстраивать ее на бумаге, пытаюсь свести к какой-то разумной форме, расписывал план, продумывал эпизоды, в которых наиболее очевидно и выигрышно проступит моя мысль, определял основной ход сюжета, записывал те «куски», что уже требовали выхода. Так продолжалось несколько недель. Драгоценный замысел был, если можно так выразиться, послан мне где-то в конце октября, но лишь в начале февраля я решился приступить к работе – сел за стол, разложил бумагу и трепещущей рукой вывел первую фразу первой главы. Вот тут-то и начались главные трудности.

Во-первых, я ведь обещал, как вы помните, изменить свой стиль. Точнее, я собирался избавиться от той манеры, в которой были написаны «Три самозванца», – манеры не столько моей, сколько стивенсоновской. Мой собственный стиль, или что-то в этом роде, я еще должен был найти. С изысканно округлой фразой, с четким равновесием слов, с плавным восхождением и снижением звука было покончено. Никаких декораций, все просто, буднично, повседневно. Но это мне никак не давалось. Сквозь первую главу я продирался с огромным трудом. Старых правил я лишился, новые еще предстояло изобрести. Изобретая их, я изрядно попотел. Рукопись первой главы превратилась в сплошные пометки, вычеркивания, вставки и исправления. Все же я кое-как справился с ней и, принимая во внимание все обстоятельства, готов был себя с этим поздравить. Полный надежд, я приступил ко второй главе. И тут все рухнуло.

Я уже говорил, что заготовил и расписал план книги, что все уравновесил и продумал последовательность событий и эпизодов. И вот, едва написав первые две строки второй главы в строгом соответствии с планом, я понял, что в таком виде книга в принципе не может быть

написана. Гипсовая модель развалилась у меня в руках. В гипсе все выглядело очень красиво, но превратить это в мрамор оказалось невозможно. То была страшная минута.

Три недели я просидел над пустым листом бумаги. Ночь за ночью я пытался написать эту проклятую вторую главу, ночь за ночью я стонал и стучал кулаком по столу. Иногда за всю ночь я успевал написать только две строки, иногда – изводил две плотные пачки бумаги, но все без толку. Ни в одном слове не было ни жизни, ни огня, ни правды, ни движения. Первую главу задуманной книги мне удалось написать, но всю книгу я написать не мог. И все же я должен был это сделать. В те годы мое упорство не уступало упорству славного бульдога Джаггернаута, а уж его никто не мог переупрямить.

Должен сказать, что, по моему глубочайшему убеждению, я сам загнал себя в эту безвыходную ситуацию как раз тем, что до мельчайших деталей продумал предстоявший мне путь и так тщательно составил план. Я уже рассказывал, как мысленно прокатывал свою книгу вперед и назад, вверх и вниз, как все планировал и распределял, срывал горы, подрезал кустарники, вырубал деревья, чтобы дорога была легкой и гладкой. Вот это и мешало мне теперь пуститься в путь. Потому что, говоря по совести, литература для меня всегда была приключением. Ее смысл, ее радость, как я их понимаю, неразрывно связаны с проникновением в новые миры, в неизведанные страны, каждая глава – это высокий холм в Дэрине, с вершины которого я должен увидеть недоступные прежде глазу просторы. В этом для меня и таится смысл каждого эпизода. Он должен проявиться, пока я пишу самые обыкновенные слова, пока чернила стекают с острия пера, а иначе все написанное не стоит и ломаного гроша. Но, приступая к этой злосчастной книге, я слишком долго разведывал предстоявший мне путь и, начав наконец писать, обнаружил, что никаких открытий уже не осталось. Ни чудес, ни тайн, ни зарытых неведомо где сокровищ – не осталось ничего необычного и удивительного. Все было хорошо мне известно, давно знакомо и совершенно лишено смысла.

И все же я должен был написать эту книгу, и я писал ее. Наступила счастливая ночь, когда смысл измучившей меня второй главы наконец открылся мне. Насколько я помню, по изначальному плану в этой главе Луциан должен был собрать свои вещи и отправиться в Лондон, навстречу всем полагавшимся ему ужасам мансарды, и тут мне показалось, что его еще ждет много приключений в родных местах. Я стал думать о них и писать о них, и так я получил возможность еще ненадолго задержаться среди дорогих мне лесов, округлых холмов и незабываемых долин родного Гвента. Я вновь услышал слабые отзвуки той неповторимой песни, которую пела мне когда-то любимая мной страна, песни, которая и сейчас доносится до моего слуха через пустыню долгих трудных лет. Так постепенно я начал писать «Римскую главу», пытаясь возродить римско-британский мир Иски Силурийской, Карлиона-на-Аске, города, в котором я родился. Старинный золотой город (ныне маленькая заброшенная деревня) пропитал все мои мысли – я напряженно прислушивался к маршу легионов по глубоким зеленым впадинам Вентвуда, к зову их труб, и голова у меня, как говорят в здешней части Англии, «шла кругом». Я бродил по привычным улочкам туманного Блумсбери, погружившись в свои видения, и, внезапно очнувшись, потрясенно осознавал, что стою на Лэм-Кондуит-стрит, или на Мекленбургской площади, или посреди пустынной Грейт-Корам-стрит, что нахожусь вовсе не в саду Авалона и брожу не по дорогам нимф и не по мосту Сатурна (именуемому так до сих пор). Не в силах определить, где я, припомнить, что собирался делать, я был не в состоянии сориентироваться, найти хотя бы запад и восток, север и юг, сообразить, как же я попаду домой на Грей-Инн, где меня уже ждет обед. Вот таким-то странным образом и была создана четвертая глава. Я гордился собой и с энтузиазмом принялся за пятую, шестую, седьмую главы, а затем, отправившись на месяц на каникулы в Прованс, вернулся, полный сил и уверенности, что теперь-то я быстро закончу книгу.

Увы! Мне предстояло тяжкое падение с вершин, на которые вознесла меня гордыня. Я перечитал последние три главы и вдруг увидел, что все они безнадежно плохи, что они попро-



сту никуда не годятся, что я, сам того не заметив, чуть-чуть отступил от правильного пути и двигался вперед, уходя все дальше и дальше от верной дороги, пока вовсе не заплутал. Мне не удалось подойти к дому – я стоял посреди темного леса и не знал, как из него выбраться.

Оставалось только одно. Я спрятал три неудачных главы поглубже в ящик стола и начал все сначала – то есть с конца четвертой главы. С пятой и шестой я справился быстро, а затем вновь безнадежно бился много недель подряд над седьмой, завершающей главой. Вновь я шел по неверному следу, вновь все мои труды пропадали даром и вокруг стола росла грудa понапрасну изведенной бумаги, пока какая-то, сам не знаю какая, случайность не подсказала мне правильный ход, – и я в два дня написал последнюю главу. Снова меня выручило воспоминание о той древней стране, и с его помощью книга была закончена. Вся эта работа, от начала до конца, заняла восемнадцать месяцев.

Теперь дело было за издателями. Ответы, которые я получал от них, могли растопить сердце самого закоренелого циника. Эти жестокие деловые люди не жалели своего времени, стараясь быть добрыми. Один за другим они писали мне длинные письма, мелким почерком и на огромных листах хорошей бумаги. Все они умоляли меня прислушаться к их мнению, заклинали не публиковать эту книгу, эту жалкую, ничтожную, тоскливую поделку, которая погубит те остатки писательской репутации, которые у меня еще сохранились.

Один из этих добрых людей пошел еще дальше. Месяца через два после того, как он вернул мне «Холм грез» с любезнейшим письмом объемом в хорошую статью, я наткнулся в какой-то газете на колонку «литературных новостей», и меня глубоко заинтересовало одно объявление. Звучало оно примерно так.

«Мистер Такой-то (следовала фамилия издателя) и мистер Аноним (известный писатель) заключили договор на роман, который обещает быть чрезвычайно интересным. В нем будут описаны, как сказал мне мистер Такой-то, приключения молодого человека, живущего отчасти в нашей современности, а отчасти в римском мире второго века нашей эры. Сюжет кажется мне совершенно новым и интригующим, и я с нетерпением жду появления весной этой книги. Соавторы еще не решили окончательно, под каким названием должна выйти их великолепная история».

Я расхохотался. Уж мне-то было известно, откуда взялся сей многообещающий молодой человек – из четвертой главы моей рукописи. Тем не менее об этой исправленной и дополненной версии больше ничего не было слышно, и в 1907 году, через десять лет после написания, книга вышла в свет.

## Глава 1

Небо полыхало, словно там, в вышине, открылась заслонка огромной печи.

А перед глазами до сих пор стояли сказочные места, по которым он бродил весь день. Каникулы были на исходе, и Луциан Тейлор вышел с утра пораньше из дому, намереваясь добраться до незнакомых еще холмов и их окрестностей. Изнемогший после сильных дождей воздух неподвижно затих, над землей низко нависали свинцовые тучи. Над горами царило полное безветрие, а внизу, в глубокой долине, не шелестели даже сухие листья и ни одна ветка не шевелилась в темном январском лесу.

Примерно в миле от дома священника Луциан сошел с главной дороги и углубился в лес по тропинке, обещавшей тайны и приключения. То была старая, заброшенная дорога, почти канава, которую талые воды прорыли на десять футов в глубину. Разросшиеся по ее обочинам кусты густо переплелись друг с другом, образовав над тропой темный свод. По обеим сторонам текли стремительные ручьи, и порою вода вырывалась из берегов, заливая и саму дорогу. Здесь было так темно, что вскоре Луциан потерял всякое представление о том, куда вела его эта тропа, спускавшаяся все ниже и ниже – в таинственную бездну.

Не менее двух миль прошел он между отвесными стенами, пока наконец отлогий спуск не прекратился. Луциану казалось, что он проделал огромный путь – путь, отделявший известный ему мир от неведомого. Он спустился в какую-то глубокую лощину, со всех сторон зажатую скалами. Окаймлявший ее темный лес не пропускал солнечного света. Позади и впереди, справа и слева – повсюду из скрывавшихся под корнями невидимых источников струилась вода. Постепенно становясь все шире и глубже, эти прозрачные потоки устремлялись в одном направлении и впадали в небольшую речушку, пересекавшую долину. Посреди усталого, оцепенелого молчания, что царило под неподвижными свинцовыми тучами, этот шум стремительной, бурлящей воды казался неуместным, и Луциан невольно остановился на маленьком шатком мостике, глядя, как проносятся в потоке куски древесины, ветви деревьев, клочья соломы, – в безумной гонке обрушивались они в пенный водоворот и замирали в заторе возле упавшего в ручей дерева.

Тропинка вновь пошла в гору – миновав известняковые холмы, Луциан карабкался все выше и выше, и шум воды внизу постепенно превратился в невнятный гул, похожий на летнее жужжание пчел. Потом на короткое время тропа перестала взбираться вверх, и наконец в зарослях, ограждавших ее с обеих сторон, показался просвет – появилась возможность, забравшись на какой-то выступ, выглянуть наружу. Как Луциан и думал, он увидел совершенно незнакомую дикую местность: за живой изгородью раскинулся неведомый, забытый край. Луциан стоял на ровной площадке на вершине холма – перед ним простирались широкие равнины и глубокие извилистые овраги, а дальше, за лесом, виднелась еще более пустынная местность с дикими голыми скалами, темными, в оторочке лесной чащобы лугами и застывшим над этим скупым пейзажем серым небом. У самых ног Луциана тропа почти отвесно ныряла вниз, в новую долину, за которой открывался еще один крутой склон, поросший низкой травой, в которой то и дело встречался засохший папоротник да изредка попадались какие-то колючки, затем пошел огромный дубовый лес, молчаливый, тихий и пустынный, словно нога человека никогда не ступала сюда. Трава и папоротник, колючие кусты и лес – все это казалось сумрачно-серым под низким свинцовым небом, и, глядя на раскинувшуюся перед ним картину, Луциан будто читал прекрасную книгу, смысл которой ускользал от его понимания. Как герой волшебной сказки, он бесстрашно шел вперед, разглядывая открытую им удивительную страну и ощущая скорее кожей, чем зрением, что день близится к закату и все вокруг насыщается сумрачным серым цветом. Скоро откуда-то издалека до Луциана донеслись привычные звуки вечерней деревни – мычание скота и лай овчарок. Было уже поздно, тени сгущались, и он ускорил шаг, но

тут тропинка пошла под уклон, резко повернула, и Луциан с облегчением понял, что вновь оказался среди знакомых мест: он описал почти полный круг и вышел к долине, ведущей к дому, — оставалось пройти не больше мили. Луциан весело зашагал вниз. Затянутый белесоватой дымкой воздух чуть искрился, делая зыбкими привычные очертания деревьев, изгородей и домов. На вершине холма мерцали стены Белой Фермы, казалось, они пытаются оторваться от земли и устремиться навстречу Луциану. И тут что-то случилось. Легкий порыв ветра прошелестел по живой изгороди. Кусты ответили суховатым, скрежещущим шепотом. Немногие уцелевшие еще листья задрожали на ветвях, а один или два унесенных ветром листочка закружились в бешеном танце. Потом ветер усилился, подул с другой стороны, и на этот раз даже толстые ветви откликнулись ему, застучав друг о друга, словно кастаньеты. Порыв ветра вернул воздуху ясность и прозрачность. В эту минуту Луциан проходил мимо развилки, где тропинка сворачивала к маленькому домику миссис Гиббон, одиноко стоявшему среди полей: поднимавшийся из трубы голубой дым вычерчивал четкую тонкую линию на фоне неуклюжих темно-зеленых деревьев и разлившейся по небу бледной полосы заката. Луциан миновал развилку, сосредоточенно глядя под ноги, — но тут что-то белое отделилось от темной изгороди, проскользнуло мимо него и растворилось в таинственном полумраке сгущавшихся сумерек, чуть подкрашенном багрянцем последних солнечных лучей. Несколько минут Луциан пытался сообразить, кто бы это мог быть, — обманчивые сумерки искажали все то, что представлялось таким ясным при свете дня, — а потом понял, что это всего-навсего Энни Морган, дочь старого Моргана с Белой Фермы. Энни была на три года старше Луциана, ей исполнилось всего пятнадцать, но, приехав домой на зимние каникулы, Луциан был сильно раздосадован, увидев, как сильно она выросла с лета. Он спустился с холма и, случайно подняв глаза, обнаружил необычайную перемену, происшедшую с небом. Бледная полоса превратилась в огромную реку призрачного света, тяжелые свинцовые тучи расползлись отдельными хлопьями, и теперь ветер быстро разгонял в стороны их обрывки. Луциан остановился, чтобы получше разглядеть все эти метаморфозы, и взгляд его упал на высокую насыпь, громоздившуюся над холмом, по которому он спускался в долину. Происхождение этой насыпи было ему хорошо известно: природное образование, изначально имевшее форму крепости, которое затем выровняли и укрепили римляне. Глазам Луциана предстали высокий вал, неизменно именуемый отцом мальчика крепостной стеной, и глубокая канава на северном склоне холма — ров, ограждавший крепость от нападения с гор. Там, на вершине, росли дубы — странные, искореженные деревья с перекрученными стволами и корявыми ветвями. Луциан ясно различал их черные силуэты на фоне освещенного неба. И тут в воздухе вновь произошло какое-то изменение. Закат сгустился; в озере у ворот фермы отразилось пятно, похожее на кровь; тучи окрасились в неистовый цвет пламени, и мальчику показалось, будто над ним пышет жаром огромная страшная печь.

Ветер задул с удвоенной силой, откуда-то из леса до Луциана донесся звук, похожий на вскрик, а внушительных размеров дуб на обочине дороги с угрожающим скрипом вывернул свои кривые ветви. Красное пламя, уже полностью охватившее небо, озаряло землю и все, что на ней было, — серые зимние поля и нагие холмы покрылись румянцем, пруды превратились в лужицы расплавленной меди, а дорога заискрилась, как если бы по ней разбросали пригоршни начищенных до блеска монет. Луциан был поражен этим внезапным чудом и почти испуган пурпурным колдовством вечера. Старая римская крепость пылала, словно огромный костер; небесное пламя лизало ее стены, а нависшая над ними черная, быстро тающая и меняющая очертания туча была похожа на облако дыма. В отблесках этого костра каждое искривленное и дрожащее дерево казалось черным, как сама ночь.

Подойдя к дому, он услышал мамин голос:

— Вот наконец и Луциан. Мэри, мастер Луциан вернулся! Можешь накрывать к чаю.

Луциан долго рассказывал о своих приключениях и немножко огорчился, когда выяснилось, что отец прекрасно знает окрестности и, более того, названия тех таинственных лесов, по которым он бродил с таким трепетом.

– Думаю, ты дошел почти до Даррена, – вот и все, что мальчик услышал от отца. – Да, я тоже видел закат. Готов поклясться, надвигается буря. Вряд ли завтра в церкви будет много народу.

По случаю выходного дня к чаю подали гренки с маслом. Красные шторы уже были опущены, в камине пылал яркий огонь, кругом стояла знакомая мебель, уже потертая, но связанная с дорогими воспоминаниями. Эта комната нравилась Луциану куда больше, чем холодный прямоугольник школьного класса, а читать «Чеймберз джорнел» казалось ему намного интереснее, чем штудировать Евклида. Да и родительские разговоры были куда приятнее дразнилок вроде: «Эй, Тейлор, я порвал брюки – почем ремонт?» или «Люси, дорогая, быстренько пришей мне пуговицу к рубашке».

Ночью Луциана разбудила гроза. Мальчик сел на кровати, подтянул к подбородку одеяло и, с трудом сдерживая дрожь, пытался сообразить, где находится: ему снилась римская крепость, он боролся с чем-то темным и страшным, заслонка огромной печи была открыта, и оттуда на него обрушивался пламень небесный.

В школе Луциан учился средне, изредка получал награды за прилежание, но все больше и больше увлекался внепрограммным чтением и поисками странных сведений. С элегиями и ямбами, которые задавали в классе, он справлялся неплохо, но гораздо больше любил рифмованную латынь Средневековья. История ему нравилась, но еще больше нравилось представлять опустошенную римскими легионами Британию, схваченные морозом каменные дороги, таящуюся в глубине диких горных лесов кельтскую магию, розовый мрамор в потеках дождя и посеревшие стены. Такого рода увлечений школьные наставники не одобряли – столь бескорыстный интерес можно было питать к крикету или футболу; на худой конец, не возбранялось играть в ручной мяч или читать Шекспира, но в раннем Средневековье порядочным английским мальчикам делать нечего. Однажды Луциан крупно провинился – дал почитать томик Вийона своему однокласснику по имени Барнс. Пока все были заняты приготовлением уроков, Барнс, с трудом складывавший французские буквы в слова, методично изыскивал всяческие фrivольности в тексте – и в итоге привлек внимание учителя. Ситуация оказалась весьма серьезной – директор школы и слыхом не слыхивал о Вийоне. Барнс без малейших угрызений совести выдал владельца книги. Луциан был наказан, а бедный полуграмотный Барнс, отделавшийся легким испугом, с тех пор решил ограничить свое чтение Ветхим Заветом – по крайней мере уж эту книгу директор знал. Луциан продолжал усердно работать, исправно готовил домашние задания и порой выполнял очень неплохие переводы с латыни или греческого. Одноклассники считали его сумасшедшим, но при этом терпели и даже порою выказывали благоволение на свой варварский манер. Став взрослым, Луциан не раз вспоминал добрые и благородные поступки таких ребят, как Барнс, не интересовавшихся ни старофранцузским языком, ни странными и непонятными стихами, – подобные воспоминания неизменно трогали его до слез. Так путешественники, заброшенные судьбой к диким племенам, нередко встречают ласковый прием и теплое гостеприимство.

Каникул Луциан дожидался с таким же нетерпением, как и прочие школьники. Барнс и его приятель Даскот делились с ним своими планами и радостными ожиданиями – мальчики торопились домой, где их ждали братья, сестры, футбол, крикет, снова футбол и крикет, а зимой – всевозможные праздники и увеселения. А Луциан рассказывал им о своих планах заняться древнееврейским или провансальским языком и побродить – непременно под дождем – по пустынным и голым горам («Это он называет прогулкой!»). После таких разговоров Барнс доверительно сообщал Даскоту: «Старина Тейлор, видать, совсем того». Странной и причудливой была школьная жизнь Луциана – совсем не похожей на ту, что обычно описывают в кни-

гах. Как-то раз он подсмотрел трогательную сцену: директор гладил по головке сына епископа, умильно называя мальчика «малышом». Луциан превратил эту историю в фарс и представил ее пятому классу, стяжав всеобщие аплодисменты, – и тут же вновь лишился популярности, предложив всем желающим научить их схоластической логике. Один из юных варваров сбил его с ног, другой плюхнулся на него сверху, впрочем все было вполне дружелюбно. Попадались в школе и не столь безобидные ребята – высокомерные льстецы и моралисты, с младых ногтей убежденные, что жизнь надо воспринимать «серьезно», но в то же время умудрявшиеся быть, по выражению директора, «жизнерадостными и мужественными молодыми людьми». Некоторые из них дома переодевались к обеду и, вернувшись в школу после каникул, взахлеб повествовали о балах. Правда, эти жизнестойкие типы, заранее обеспечившие себе успех во взрослой жизни, встречались не так уж часто. В целом Луциан одобрял существующую систему воспитания и многие годы спустя с увлечением рассказывал о кружке крепкого пива, выпиваемой в придорожной таверне за пределами города, и утверждал, что ранняя привычка к курению характерна для воспитанников английских частных школ.

Через три года после того, как Луциан набрел на долину среди холмов и ему привиделась объятая пламенем крепость, он вернулся домой на августовские каникулы и попал в самый разгар жары. В Англии иногда еще выдаются такие жаркие годы, когда обаяние Прованса доносится до этого северного острова, кузнечики звенят громко и упоенно, словно цикады, от холмов распространяется душиловатый запах розмарина, а белые стены старых английских ферм сияют на солнце, словно фермы Арля, Авиньона или прославленного Тараскона-на-Роне.

Отец опоздал к поезду, так что Луциан успел купить на станции «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум». Когда отец наконец подъехал, Луциан заметил, что старую двуколку заново обили темной тканью, а добрый верный пони изрядно постарел.

– Я так и думал, что опоздаю, – заметил отец, – хотя и заставил беднягу Полли поторпиться. Только я велел Джорджу запрячь старушку, как вдруг ко мне прибежал перепуганный Филипп Харрис и сказал, что его отец ни с того ни с сего свалился посреди поля и вроде как лишился языка. Так вот, он просил меня как-нибудь помочь ему. Я, конечно, пошел, хотя и не знал, чем я могу ему помочь. Они послали за доктором Барроу, и я боюсь, что все это окажется солнечным ударом, да к тому же тяжелым. Старые люди говорят, что не припомнят такой жары.

Лошадка неторопливо трусила по раскаленной дороге, явно беря реванш за спешку по пути на станцию. Покрытые известковой пылью изгороди казались белыми, над полями от жары поднимался пар. Луциан показал отцу только что купленную книгу и стал пересказывать страницы, которые уже успел просмотреть. Эту книгу мистер Тейлор хорошо знал – он прочел ее еще много лет назад. На самом деле удивить его было так же трудно, как того персонажа Доде, у которого на все случаи жизни имелась одна присказка и который, даже увидев, как извлекают из реки утонувшего академика, только и промолвил: «Видал я уже все это». Мистер Тейлор, именуемый прихожанами «пастором», прочел все самые замечательные книги на свете и видел все самые красивые горы и леса – для него жизнь больше не таила в себе прекрасных и удивительных неожиданностей. По правде говоря, его доходы от службы резко уменьшились, а собственных средств у мистера Тейлора почти никогда не было – что ж, в таких обстоятельствах мало кто сохраняет способность наслаждаться прекрасным. Он очень любил Луциана и радовался его приезду, но уже к вечеру вновь безмолвно и печально сидел в кресле, подперев щеку ладонью и укоризненно глядя в глаза своей незадачливой судьбе.

Когда двуколка остановилась перед домом, никто не крикнул с порога: «Мэри, хозяин и мастер Луциан приехали! Можешь накрывать к чаю». Мать Луциана умерла год назад, и теперь хозяйство вела дальняя родственница отца. Эту почтенную особу средних лет и достаточно ограниченных взглядов звали мисс Дикон, и ее чувству прекрасного вполне соответствовал ужин из холодной баранины. Кекс, правда, был на столе – но, уж конечно, до испеченного в печке пирога она не додумалась. Несмотря ни на что, у Луциана потеплело на душе, когда он

оказался в своей любимой гостиной, за открытым окном которой виднелись долины и горы, поросшие лесом, и мальчик по-настоящему обрадовался, увидев старую мебель и не менее старые книги в шкафу. С этими книгами у него было связано столько воспоминаний! Одно из наиболее почтенных кресел расшаталось, и его приходилось подпирать, но после жестких школьных стульев оно показалось Луциану удивительно удобным. Выпив чая, он вышел побродить в саду под фруктовыми деревьями, забрался на стену и заглянул в заросли кустарника, где папоротник, ракитник и наперстянка росли вперемежку с низким орешником, – там притаились известные одному лишь Луциану зеленые пещеры и крошечные укромные полянки под переплетающимися ветвями, где мальчик провел немало часов в сосредоточенном уединении. Каждая тропа возле дома, каждый клочок земли, каждая калитка в изгороди возвращала ему давние и любимые воспоминания, а исходивший от лугов сладкий запах был несравненно прекраснее городской духоты. Луциан бродил по этим тропинкам, пока дальние леса не окрасились в пурпур и белый туман не за клубился в долине.

На протяжении всего августа по утрам и вечерам от земли поднималась дымка, земля плавилась от жары, а в воздухе появилось что-то странное и незнакомое. Бродя по долинам, прячась в тенистой прохладе лесов, Луциан видел и чувствовал, что все изменилось – солнечный свет преобразил луга, исказил привычные очертания земли. Под яростным, почти прованским солнцем вязы и буки казались экзотическими деревьями, и ранним утром, когда над землей поднимался густой туман, холмы напоминали часть неземного пейзажа.

Главным событием каникул был поход в римскую крепость – на ту гору, откуда три года назад среди крутых стен и кривых дубов увидел Луциан пламя заката. С того январского вечера загадочная пустынная местность манила Луциана. Он рассматривал зубчатые стены при ослепительном сиянии лета и в зимнюю непогоду, замечал, как постепенно размываются нескончаемым дождем массивные насыпи, всматривался в проступавшую сквозь снежно-белые летние туманы громаду и наблюдал, как расплываются и исчезают очертания крепости в нависающих сумерках апреля. В изгороди, пересекавшей дорогу, имелась калитка – Луциан любил рассматривать отсюда окрестности: на юге его глазам представал отвесно поднимавшийся к небу склон холма – летом вершину холма можно было узнать не только по кольцу крепостных укреплений, но и по темно-зеленому венку дубовых крон. Поднявшись выше по дороге – так Луциан возвращался в памятный январский день, – можно было разглядеть белые стены моргановской фермы, что маячили к северу от горы, на юге же поднимался к небу дымок, обозначавший коттедж старой миссис Гиббон. Но в самом низу, в долине, видимой только с этой точки, не было и следа человека – старые позеленевшие стены крепости и молчаливое кольцо дубов охраняли вход в иной мир.

В те жаркие дни августа старая крепость притягивала Луциана куда сильнее, чем прежде. Бродя (или, как сказал бы его классный руководитель, «околачиваясь») возле крепостных ворот, робко заглядывая вниз, в скрытую от мира долину, Луциан давал волю своей фантазии и вновь видел над холмом призрачное сияние и языки пламени. Однажды крутые склоны и высящиеся над ними укрепленные стены крепости притянули взгляд мальчика сильнее, чем обычно, а зеленое кольцо дубов, застывшее на фоне ясного неба, выглядело как на картине – и Луциан, как правило избегавший вторгаться в чужие владения, не выдержал. Фермеры и их работники ушли в поле собирать урожай, так что не было смысла отказываться от приключения. Сначала Луциан пробирался по тропинке, петлявшей в тени ольховника, где, как на лугу, густо росли цветы и трава, но, едва очутившись в непосредственной близости крепости и увидев ее стены у себя над головой, мальчик вышел из скрывавшей его тени и на свой страх и риск начал подъем. Не было ни малейшего дуновения ветерка, солнце беспощадно прижигало голый склон горы, хриплое стрекотание кузнечиков одиноко звучало в раскаленном мареве – а Луциан карабкался все выше и выше. Наконец долина осталась внизу: знакомый ручей выглядел тоненькой блестящей ленточкой, в долине виднелись маленькие темные фигурки работав-



ших на полях фермеров. В неподвижном воздухе иногда повисали отзвуки их песен. Луциан сильно взмок, по его лицу струился пот, все тело было неприятно влажным. Но впереди уже маящие высились стены крепости, а темно-зеленое кольцо дубов обещало тень и прохладу. Луциан собрался с силами, одолел последний подъем, а потом пополз на четвереньках по крепостной стене, цепляясь за мох и корни, торчавшие из красной глины. Наконец, тяжело дыша, он повалился на поросшую травой вершину холма.

Внутри форт был холодным и полым, словно огромная ледяная чаша, а стены казались еще выше, чем снаружи. Кроны дубов образовывали темно-зеленый свод. Здесь густо росла крапива – она выглядела как-то необычно, и, случайно задев один из кустов, Луциан почувствовал болезненный ожог. По другую сторону рва виднелись старые кургузые деревья: изувеченные, иссушенные ветром дубы и вязы, ясень и лесной орех-недоросток так переплелись и исказились внешне, что, как и крапива, были почти неузнаваемы. То и дело натываясь на колючие ветви, Луциан попытался проложить себе путь через заросли. Несколько раз он ушибся о нечто более твердое, чем старые корни, и, поглядев себе под ноги, увидел побелевшие от времени камни со следами римского зубила. А затем среди стволов чахлах деревьев показались остатки стены – на этот раз высотой не более фута. Среди развалин произрастали незнакомые Луциану травы с неприятным запахом. Земля здесь была черной и влажной – она пружинила под ногами, не сохраняя следов. В темных местах, в густой тени, образовалась омерзительная плесень, отравлявшая своим затхлым запахом неподвижный воздух, – Луциан вздрогнул от отвращения, случайно наступив на нее. Наконец сквозь заросли пробился солнечный луч, и, раздвинув ветви, мальчик выбрался на открытое место в самом центре старой крепости. Среди густого кустарника открылась полянка, заросшая невысокой мягкой травой. Под ногами теперь была чистая, плотная почва, без каких-либо неприятных наростов. Посреди поляны лежало тисовое дерево, очевидно совсем недавно поваленное и брошенное лесорубом. Луциан подумал, что этот ствол будто специально предназначен для отдыха: на изогнутый сук, по которому еще бежала струйка смолы, можно было удобно опереться, и мальчик уселся в это сотворенное природой кресло, чтобы отдохнуть после утомительного пути. Сиденье оказалось жестковатым даже по сравнению со школьными стульями, но было приятно сесть на что-то, отдаленно напоминающее кресло. Луциан никак не мог отдышаться после крутого подъема и борьбы с местными джунглями, а между тем жар с каждой минутой усиливался – словно недавний крапивный ожог распространялся от горящей ладони по всему телу.

Вдруг Луциан ощутил, что он совсем один. Это не было обычным уединением глубокой лощины или лесной поляны – все его существо преисполнилось каким-то новым и странным чувством. Ему привиделась долина, оставшаяся далеко внизу, зеленые мирные луга вдоль ручья, где нельзя было разглядеть ни дорог, ни тропинок. Затем он вспомнил, как карабкался на холм, представил позеленевшие крепостные стены и то, как он продирался сквозь заросли, чтобы угодить в самый центр мироздания, по другую сторону которого лежали пустынные, дикие и необжитые места. Луциан был совершенно один. Его по-прежнему мучила жара, и он наконец сполз со своего импровизированного кресла и вытянулся во весь рост на мягкой траве – лежа было легче терпеть накрывшую все его тело волну жара.

Мальчик задремал, дав волю своему воображению, размышляя о чем-то приятном. Волны раскаленного воздуха окатывали его. Ожог от крапивы горел и отдавался в руке невыносимой болью. Здесь, на заколдованной горе, за высокими укреплениями, за могучими дубами, за чащей переплетающихся друг с другом странных деревьев, Луциан был совсем один. Медленно и осторожно он принялся развязывать шнурки на ботинках, то и дело поглядывая на окружающие поляну уродливые деревья. Поблизости не было видно ни одной свободно растущей и прямой ветви – все они переплелись и искривились, а от основания стволов и до самых кроны по коре тянулись причудливые наросты, иногда напоминавшие то человеческое тело, то лицо, то конечности. Зеленая трава казалась волосами, заплетенными в седые от серого лишай-

ника косы, кривой корень представлялся ногой, а в полом дупле полусгнившего ствола виделось человеческое лицо или маска. Глаза Луциана были настолько зачарованы этими древесными идолами, что он никак не мог сосредоточиться на движениях пальцев, и вдруг ему показалось, что и сам он – не кто иной, как привольно вытянувшийся на солнце смуглый фавн с блестящей от пота кожей и темными глазами.

Быстрые искорки пробегали по нервам; отзвук тайн, глубинных тайн мироздания заставлял трепетать сердце мальчика; неведомые желания пронзали Луциана. Он оторвал взгляд от травы и взглянул в чашу леса. Солнечный свет показался ему зеленым, и в игре этого света и пляшущих жарких теней, на границе изливавшегося на поляну яркого сияния и чащобной тьмы, Луциан увидел, как двигаются призрачные очертания стволов и корней ожившего леса. Трава поднималась и опадала, словно морская волна, и мальчик заснул на поляне посреди лесных зарослей.

Потом Луциан подсчитал, что проспал около часа, – во всяком случае, когда он проснулся, тени уже изрядно сместились. Он проснулся будто от сильного толчка, после чего сразу же сел и в изумлении уставился на свои голые ноги. Затем поспешно натянул одежду и всунул ноги в башмаки, не переставая гадать над тем, что могло заставить его раздеться. И пока Луциан стоял, пытаясь разобраться в тысяче мыслей, вихрем пронесившихся у него в голове, а руки и тело его дрожали, словно от электрического разряда, – он вспомнил. Щеки мальчика вспыхнули, пламя пробежало по всем его членам. В тот самый момент, когда Луциан проснулся, легкий ветерок коснулся изуродованных ветвей и светлое пятно – быть может, то был всего лишь солнечный луч – прорвалось сквозь заросли. Склонившиеся над островком света ветви на мгновение пришли в движение, словно по ним промчался порыв ветра.

Луциан протянул руки и закричал, заклиная: вернись! Он звал те бездонные глаза, что охраняли его сон, те алые губы, что прижимались во сне к его губам. Потом он повернулся и в слепом страхе кинулся бежать сквозь лес. Взобравшись на вал, Луциан пригнулся, чтобы его никто не заметил, и выглянул наружу. Ничего – только тени сместились к горизонту, только легкая прохлада поднималась от ручья, только чуть темнее стали мирные поля и фигурки людей среди высоких колосьев, и все так же лилась над полем какая-то песня. По другую сторону ручья, на склоне холма, возвышавшегося прямо напротив крепости, над кровлей коттеджа старой миссис Гиббон устремлялся к небу, закручиваясь в тоненькую струйку, голубой дым. Луциан припустил под гору и не останавливался, пока не добежал до ворот и не очутился на своей тропе. Оглянувшись, он увидел холм на юге долины, зеленоватые крепостные стены и темные кроны дубов. В солнечных лучах над крепостью играли языки пламени.

– Где ты пропадал, Луциан? – начала тетка, едва он переступил порог дома. – У тебя совершенно измученный вид. Безумие – разгуливать в такую жару. Вот увидишь, когда-нибудь это кончится солнечным ударом. Придется тебе пить холодный чай – не могла же я заставить твоего отца ждать целую вечность.

Луциан что-то пробормотал, отговорился усталостью и сел за стол. Чай не так уж и остыл, поскольку чайник был укрыт чехлом, но перестоявшийся напиток стал совсем черным и до горечи крепким. Пить его было почти невозможно, зато терпкий чай привел Луциана в чувство, и в конце концов мальчик с облегчением подумал, что ему просто приснился странный, почти кошмарный сон. Он решительно отогнал все видения, полагая, что уединенное место, жара и болезненный ожог – след от крапивы все еще болел, – вместе взятые, и породили этот бред. Тут Луциан вспомнил, что после того, как крапива ожгла ему руку, он прихватил ее стебель носовым платком и, выдернув из земли, спрятал в карман, чтобы показать отцу. Когда мистер Тейлор вернулся после вечернего осмотра сада, он сразу заинтересовался, увидев необычное растение.

– Где ты нашел это? – спросил Луциана отец. – Ты ведь не мог добраться до Каэрмаена, верно?

– Я был в римской крепости.

– Так ты забрел в частное владение! А знаешь, что это за крапива?

– Нет. Мне просто показалось, что она какая-то необычная.

– Вот именно. Это римская крапива, *urtica pilulifera*. Редкое растение. Говорят, что ее можно найти в Каэрмаене, но у меня нет времени съездить туда. Я должен присовокупить этот образец к гербарии местной флоры.

Мистер Тейлор пытался сочинить книгу о местных растениях и даже собирал с этой целью гербарий, но и то и другое чаще всего пылилось где-то на полке. Крапиву он положил на стол в своем кабинете, собираясь ее засушить, но через пару дней служанка, убираясь в комнате, смахнула поблекшую траву со стола.

Этой ночью Луциан метался и кричал во сне, и его пробуждение на рассвете напоминало вчерашнее – в крепости, только на сей раз потрясение было не таким сильным, да и в привычной обстановке странные видения казались обычным бредом. Днем Луциан отправился в Каэрмаен – миссис Диксон, жена викария, настаивала, чтобы он зашел к ним на чай. Мистер Диксон, несмотря на полноту, короткую шею, а также красное и почти до синевы выбритое лицо, на самом деле был на редкость спокойным человеком и противником всяческих крайностей. Любые партийные пристрастия он считал «прискорбными» и полагал, что наша возлюбленная церковь более всего нуждается в терпимости, взаимном примирении и, по собственному его выражению, «синтезе». Миссис Диксон – высокая женщина внушительного вида – могла украсить собой как дом епископа, так и замок какого-нибудь вельможи. Ее дочери изучали немецкий язык и рассуждали о современной поэзии, но как раз их-то Луциан и не боялся: его пугали мальчишки, эти юные джентльмены с прекрасными манерами, коим, как все говорили, суждено было преуспеть в жизни. Когда Луциану передали любезное приглашение викария, он пробормотал что-то вроде «черт подери!», но деваться было некуда. Мисс Диксон постаралась привести Луциана в человеческий вид, а поскольку все его галстуки казались ей «просто ужасными», то она повязала ему на шею узкую шелковую ленточку. Потом мисс Диксон принялась расчесывать Луциану волосы – так долго и яростно, что он вполне понял лошадей, кусающих и лягающих не в меру заботливых конюхов. В половине третьего в самом что ни на есть прескверном настроении Луциан отправился в путь, отлично представляя, что сулит ему встреча с превосходно воспитанными юными джентльменами. На деле все оказалось еще хуже, чем он ожидал. Мальчишки играли на лужайке, и вместо приветствия один из них ехидно осведомился:

– Эй, Луциан, где ты купил эту ленточку?

– Замечательная ленточка! – тут же подхватил второй, судя по всему гость. – Не иначе как с котенка снял.

Потом они затеяли игру в крикет, и Луциан сразу же выбыл и, по единодушному приговору «юных джентльменов», осрамился так, что остаток дня вынужден был играть на подхвате. Когда Луциан пропустил мяч – довольно трудный, – его сверстник Артур Диксон, наплевав на все законы гостеприимства, обозвал юного Тейлора глупой скотиной. После пропуска еще нескольких мячей – которые, по словам Эдварда Диксона, взял бы и годовалый младенец – Луциан совсем расстроился и бессильно опустил руки. Наконец все единодушно объявили, что именно по его вине игра расстроилась, и тринадцатилетний Эдвард Диксон, розовощекий, рослый, с глазами навывкате, вызвал Луциана за это на драку. К возмущению присутствующих, Луциан трусливо отказался. Один из гостей, странноватый мальчик по имени Де Карти, не забывавший при каждом удобном случае намекать на свое родство с лордом Де Карти, громко заявил, что ему противно стоять рядом с таким трусом. В том же духе, мирно и ко всеобщему удовольствию, прошел остаток дня, и наконец всех позвали пить бесцветный чай с домашним кексом и незрелыми сливами. После чая Луциану позволили уйти, и он услышал за спиной прощальную реплику Де Карти:

– У нас дома мы привыкли одеваться хорошо. Его отец, наверное, совсем обнищал, раз выпускает отпрыска из дому в таком виде. Вы не заметили, что у него штаны сзади совсем вытерлись? А что, старого Тейлора считают здесь за джентльмена?

Луциан провел день в изысканном обществе, но, покинув жилище викария, испытал великое облегчение и отправился домой, наблюдая, как поднимающийся от реки туман смешивается с дымком, нависшим над черепичными крышами маленького городка, некогда прославленной столицы Силурии. Сверху были видны пасшиеся на лугу лошади и свет в окошках прижавшихся к склону горы коттеджей. Перед Луцианом лежала вытянутая уютная долина, очертания которой таяли в сумерках, пока совсем не стемнело и видимой осталась лишь темная кромка леса. Было приятно идти по наполненной таинственными запахами долине, угадывая в темноте очертания домов и скрытые под покровом ночи леса и поляны. Теплый ветер доносил до Луциана сладкий аромат трав, росших на лугу у ручья; иногда мимо пролетала спешившая домой пчела, жужжание которой напоминало далекий орган; из глубины леса слышалось уханье сов; странные, чуждые голоса леса перемешивались с таинственными звуками и шорохами ночи. Сквозь пелену облаков выглядывала луна – словно огромный золотой фонарь, который время от времени вывешивали прямо над его головой, а в деревянной изгороди зеленовато мерцали светлячки. Луциан шел медленно, благоговей перед этой красотой: ночной пейзаж казался ему прекрасным и волшебным, будто полумрак большого собора. Он совсем забыл и «юных джентльменов», и их насмешки и жалел лишь о том, что не владеет словом или кистью, чтобы передать очарование этой тропы, сиявшей и переливавшейся в лунном свете.

– Надеюсь, ты хорошо провел день? – спросил его отец.

– Дорога домой была просто великолепна. А днем мы играли в крикет. Не могу сказать, чтобы мне это сильно понравилось. Там был мальчик по имени Де Карти – сейчас гостит у Диксонов. Когда миссис Диксон разливала чай, она шепнула мне, что он двоюродный племянник лорда Де Карти, и голос у нее при этом был такой торжественный, словно она молилась.

Отец усмехнулся и раскурил свою старую трубку.

– Прадедущка барона Де Карти был судьей в Дублине, – сказал мистер Тейлор. – Его звали Иеремия Маккарти. Неблагодарные сограждане называли его Судьей Неправедным или, еще того лучше, Кровавым Судьей. Я слышал, что призывы повесить Маккарти звучали довольно громко все время, пока обсуждался вопрос об унии.

Отец Луциана читал много и беспорядочно, но память у него была на редкость цепкая. Оставалось только удивляться, почему он так и не сделал карьеры. Однажды мистер Тейлор рассказал Диксону об очень смешном, буквально анекдотическом приключении, случившемся с их местным епископом в студенческие годы, – до сих пор он не мог взять в толк, почему этот самый епископ вдруг охладил к нему. Кто-то объяснил мистеру Тейлору, что епископу не нравится его манера сжигать в церкви целую кучу свечей, но это, конечно, была сплошная глупость, поскольку почтенный Смоллвуд Стэффорд, сын лорда Бимиса, пекшийся о душах прихожан в главном городском соборе, жег гораздо больше свечей, а с ним епископ состоял в наилучших отношениях и даже гостил в его родовом замке Копси-Холл, что к западу от Каэрмаена.

Луциан нарочно упомянул имя Де Карти, передразнив и даже преувеличив торжественные нотки в голосе миссис Диксон. Он знал, что это развеселит отца, имевшего довольно своеобразный взгляд на некоторые вещи, что, по мнению многих, было абсолютно неприемлемо для священника. Отсутствие почтения к столь серьезным вещам объединяло отца и сына, но отгораживало их от остальных. Многие с удовольствием пригласили бы мистера Тейлора на чай, вечеринку в саду или еще какое-либо незатейливое мероприятие, но уж очень странным он был человеком – человеком крайностей. В самом деле, в прошлом году, когда мистер Тейлор, будучи приглашенным на чай, посетил замок в Каэрмаене, он принялся так неприлично потешаться над посланием епископа к миссионерам в Португалии, что находившиеся там же

Диксоны, да и все прочие, кто его слышал, не знали, куда глаза девать. К тому же, как заметила миссис Мейрик, его черное пальто уже просто позеленело от старости. Словом, Джервейзы, пригласившие мистера Тейлора на то памятное чаепитие, больше его к себе не звали. Что же касается Луциана, то кому вообще нужен этот мальчик? Миссис Диксон, по ее собственному признанию, пригласила его исключительно из христианского милосердия.

– Боюсь, ему нечасто приходится есть досыта, – объясняла она своему супругу. – Я думала, ему пойдет на пользу чашка хорошего чая с пирогом. Но этот мальчик так нелеп – он взял только один кусочек великолепного домашнего кекса и, несмотря на все мои уговоры, съел всего лишь пару слив. Прекрасные, спелые сливы! Дети обычно так любят фрукты.

Никому не нужный, Луциан проводил каникулы в одиночестве, наслаждаясь спелыми грушами, которые росли вдоль южной стены отцовского сада. Был там такой особый уголок, где августовская жара, словно зажатая между стенами, казалась еще сильнее. Туда-то Луциан и забирался по утрам, когда в долине еще висел густой туман, там он бродил между деревьями и «околачивался», то есть мечтал, укрывшись за стенами, сложенными из мягкого кирпича. Его переполняли изумление, страх и радость, он хотел остаться в одиночестве, чтобы снова и снова возвращаться мысленно к тому дню в крепости. Несмотря на все усилия, воспоминание это поблекло. Луциан уже не понимал, что так испугало его и заставило мчаться сломя голову сквозь лес вниз с горы, но физический стыд был еще жив – тот стыд, который он испытал, проснувшись и увидев свое обнаженное тело. Он до сих пор содрогался при этом воспоминании, словно и впрямь совершил нечто дурное. Его преследовали два видения – обнаженный фавн, чья плоть сияла на солнце, и жалкий, пристыженный мальчишка, трясущимися руками собиравший свою одежду. Все перемешалось в его сознании, образы потеряли четкость, но, как и прежде, то наполняли его исступленной радостью, то повергали в отчаяние и стыд, и все происшедшее снова казалось ему нереальным и фантастическим. Он больше не отваживался забираться в крепость и теперь держался той дороги в Каэрмаен, что огибала заветный холм не менее чем за милю, – между ней и высокими укреплениями оставался участок заброшенной земли и широкая полоса леса. Однажды Луциан все-таки дошел до калитки в изгороди и остановился в раздумье, но тут за его спиной раздались тяжелые шаги, и, поспешно обернувшись, он узнал старого Моргана с Белой Фермы.

– Здравствуйте, мастер Луциан, – начал тот. – Надеюсь, мистер Тейлор здоров? Я иду домой: мои работники просят принести в поле еще сидра. Не хотите зайти и выпить кружечку, сэр? В этом году он у меня и вправду очень хорош.

Луциан не любил сидр, но ему не хотелось обижать старого Моргана, и потому он сказал, что выпьет с удовольствием. Морган был невысоким, крепкого сложения фермером из семьи местных старожилов, неизменно и в полном составе являвшихся по воскресеньям в церковь и столь же неизменно начинавших день с крепкого бульона и домашнего сыра. Зимними вечерами они пили горячее ароматное вино, а по праздникам употребляли джин. Ферма испокон веков принадлежала этой семье, и, поднявшись вслед за Морганом на высокое крыльцо, ведущее к вырезанной из дуба двери, войдя в вытянутую, темную кухню, Луциан почувствовал себя словно в семнадцатом веке. В стену было глубоко всажено единственное окно с толстым стеклом и решеткой. Стекло, изукрашенное кругами и завитушками, искажало очертания розового куста под окном, искривляло сад и видневшиеся за ним поля. Потолок подпирали две тяжелые дубовые балки, окрашенные в белый цвет, в большом очаге мерцали последние искры огня, синий дым поднимался из глубины очага в трубу – настоящий домашний очаг далеких предков, по обе стороны от которого стояли глубокие кресла. Здесь можно было прикорнуть в холодную декабрьскую ночь, наслаждаясь покоем, безопасностью и теплом, здесь можно было умиротворенно попивать вино и прислушиваться к прорывающемуся сквозь шорох огня грохоту бури. В стену очага были вделаны почерневшие плиты с инициалами «И. М.» и датой – «1684».

– Садитесь, мастер Луциан, садитесь, сэр, – сказал ему Морган. – Энни! – крикнул фермер, просунув голову в одну из многочисленных дверей. – Тут мастер Луциан, сын пастора, зашел выпить кружку сидра. Принеси-ка нам кувшин!

– Сейчас, папа, – донесся голос из погреба, и через минуту, обтирая кувшин, в комнату вошла девушка.

Энни Морган волновала Луциана, еще когда он был совсем мальчиком; по воскресеньям он смотрел на нее в церкви, и удивительно бледная кожа Энни, ее блестящие, словно подкрашенные чем-то, губы, черные волосы, бездонные мерцающие глаза, весь ее облик погружал Луциана в странные, ему самому непонятные мечты. Но за последние три года Энни Морган превратилась в настоящую женщину, а он по-прежнему оставался мальчишкой. Она вошла в кухню, слегка присела и улыбнулась ему:

– Здравствуйте, мастер Луциан. Как поживает мистер Тейлор?

– Спасибо, все в порядке. Надеюсь, у вас тоже все хорошо.

– Все хорошо, сэр, спасибо. Мне очень нравится, как вы поете в церкви. Я еще в прошлое воскресенье сказала об этом папе.

Почувствовав себя неловко, Луциан криво улыбнулся, а девушка поставила кувшин на стол и достала из буфета стакан. Она низко наклонилась над Луцианом, наливая ему густой, зеленоватый, пахнущий летним садом сидр, и, коснувшись его плеча, вежливо извинилась. Он взволнованно взглянул на нее – черные глаза, своим разрезом напоминавшие миндалины, сияли, а губы смеялись. Простое черное платье, открытое у ворота, позволяло разглядеть прекрасную кожу девушки. На миг Луциан дал волю фантазии, но тут Энни снова присела, подавая ему сидр. Он поблагодарил, и она тут же ответила:

– Пожалуйста, пожалуйста, сэр!

Сидр и вправду был хорош – не слишком жидкий, не слишком сладкий и терпкий, но благородный, ласкающий нёбо напиток, в зелени которого на свету пробегали желтые искры, похожие на луч света, коснувшийся мягкой травы в густой тени старого сада. Луциан осушил стакан с наслаждением, одним глотком и, похвалив сидр, попросил еще. Морган чрезвычайно обрадовался.

– Я так и знал, что вы понимаете толк в хороших вещах, сэр, – сказал он. – А сидр и вправду хорош, хоть я его и сам сделал. Мой дед посадил яблони во время войны, а уж лучше его никто в то время в яблоках не разбирался. Да и прививки он делал, надо сказать, знаменито. До сих пор ни одной царапинки не найдешь на деревьях, что он прививал. Взять хотя бы Джеймса Морриса из Пенирхола – он тоже в этом толк знал, что и говорить, а всё же на «красно-полосатых», которые он мне прививал пять лет назад, пониже привоя кора уже вздулась. Как насчет яблочка, мастер Луциан? Там, в погребе, еще остался пепин.

Луциан сказал, что не откажется, и фермер вышел в другую дверь, а Энни осталась на кухне поболтать с гостем. Она сообщила о скором приезде своей замужней сестры миссис Тревор, которая собиралась у них какое-то время погостить.

– У нее такой красивый малыш, – говорила Энни. – И уже все понимает, хотя ему только девять месяцев. Мэри была бы рада вас повидать, сэр. Может быть, вы окажете нам любезность? Если, конечно, у вас найдется время. Говорят, вы стали уже настоящим ученым, мастер Луциан?

– Спасибо, с учебой у меня вроде бы все в порядке. Этот год я закончил первым в классе.

– Подумать только! Слышишь, па, каким ученым стал мастер Луциан?

– Да уж, он будет ученым, как пить дать, – откликнулся фермер. – Вы, верно, в отца пошли, сэр. Я всегда говорю: что касается проповеди, то тут с нашим пастором никто не сравнится.

После сидра яблоко показалось не таким уж вкусным, но Луциан съел одно, сделав вид, что ему очень нравится, а другое, поблагодарив, положил в карман.



Уходя, он еще раз поблагодарил фермера, а Энни улыбнулась и ласково сказала, что они всегда рады его видеть. Уходя, Луциан слышал, как она говорила отцу, что мастер Луциан стал настоящим джентльменом. По пути домой он размышлял о том, как мила и красива Энни и что бы она сказала, если бы он подстерег и поцеловал ее вечером в долине. Почему-то ему казалось, что она бы только рассмеялась и произнесла бы что-нибудь вроде: «О мастер Луциан!»

Еще много месяцев воспоминание о крепости нет-нет да и возвращалось к Луциану, бросая его то в жар, то в холод, но время все больше и больше размывало эти сладостные и тревожащие образы, пока наконец они не стали принадлежностью той страны чудес, на которую молодость оглядывается в изумлении, не понимая, почему когда-то эти образы могли вызывать у нее восторг или ужас. В конце каждого семестра Луциан неизменно возвращался домой. Отец становился все мрачнее, все реже и реже оживал хотя бы на минуту, а мебель и обои в гостиной совсем вытерлись и потеряли вид. Обе кошки, столь любимые Луцианом в детстве, умерли одна за другой. Старушка Полли, их верная лошадка, свалилась под бременем лет, и ее пришлось пристрелить. Теперь по знакомым дорогам не проезжала больше старая двуколка. Лужайка заросла высокой травой, и яблони у стены стояли неухоженными. Когда Луциану исполнилось семнадцать, отец забрал его из школы – не было больше возможности платить за обучение. Печальный конец постиг все мечты разорившегося пастора об университетской стипендии, наградах, отличиях и блестящем будущем сына. Теперь отец и сын проводили вечера вместе в старой гостиной у тлеющего очага, наблюдая за тем, как растекается и уходит в небытие время, строя обреченные на провал планы и прекрасно осознавая, что впереди их не ждет ничего, кроме унылой череды лет. Однажды кто-то из дальних родственников пообещал Луциану помощь, и было решено, что он поедет в Лондон. Мистер Тейлор развонил эту великую новость всем своим знакомым (его плащ стал слишком зеленым, чтобы у него еще могли оставаться друзья), да и сам Луциан поделился радостью с семьей доктора Барроу и мистером Диксоном. А когда из этого ничего не вышло, все очень сочувствовали старому священнику и его сыну и наперебой выражали свое сожаление, пряча в глубине души ту звенящую радость, какую испытывает большинство людей, видя, как сорвавшийся с горы камень вдруг ненадолго задерживается на краю пропасти (нет-нет, где ему удержаться!), а потом еще стремительнее летит вниз и исчезает на дне поджидающего его озера.

Миссис Колли зашла к миссис Диксон обсудить предстоящее собрание матерей и поведала ей это чрезвычайно приятное известие. Миссис Диксон нянчила маленького Этельвига (примерно так звали сего достойного младенца) и высказала множество тонких соображений по поводу проявившейся в этой истории высшей справедливости. Неудача Луциана превратилась в ее устах прямо-таки в образчик Божественного провидения, который хоть сейчас можно было вставлять в «Аналогию» Батлера.

– Ведь у мистера Тейлора и в самом деле чересчур крайние взгляды, не правда ли? – заметила она, когда они с мужем садились ужинать.

– Боюсь, что да, – ответил мистер Диксон. – Меня так расстроило его выступление на последнем собрании округа. Бедный старина-епископ делал сообщение по поводу тайны исповеди – он был просто обязан это сделать после того, что случилось, – и скажу тебе, я никогда еще не испытывал такой гордости за нашу церковь.

Мистер Диксон с эпическими подробностями изложил все происшедшее на собрании и изобразил в лицах наиболее интересные выступления, восхваляя одних и сожалея по поводу других. По его словам, мистер Тейлор имел наглость процитировать в своем выступлении мнение авторитетов, которым епископ не мог возразить, хотя то, что они говорили, полностью расходилось с весьма разумным суждением самого епископа. Конечно же, миссис Диксон тоже была этим удручена: подумать только, священник вел себя подобным образом!

– Знаешь, дорогой, – заключила она, – я уже думала насчет этого бедолаги, сына Тейлора, и последней его неудачи, а после всего, что ты мне рассказал, я просто уверена, что это Бог

наказывает их обоих. Право же, мистер Тейлор совсем забыл обязанности пастыря. Разве я не права, дорогой, – грехи отцов падают на детей, верно?

Луциан физически ощущал, как распространяется среди соседей успокоительная идея «Божьего наказания», и сторонился даже того небольшого общества, которое мог найти в деревне. Когда Луциан не «околачивался» на любимых им дорожках и среди полных счастливыми для него воспоминаниями лесов, он запирался в комнате, читая подряд все, что стояло в книжном шкафу. При этом порой он набирался совершенно ненужного, а то и опасного для себя знания. Луциан долго жил в семнадцатом веке, вместе с Пипсом бродил по заливым солнцем улочкам веселого Лондона, отдавался соблазнительному очарованию Реставрации, вместе с Исааком Уолтоном и его католиками поднимался по реке, приходил в восторг от влюбленного аскета Герберта; преодолевая страх, восхищался мистикой Крешоу. Поэты-кавалеры пели свои изящные песенки, мерные стихи Геррика звучали для Луциана магическими заклинаниями. В пословицах и устаревших выражениях того времени – времени, полного изящества, красоты, достоинства и веселья, – Луциан находил былую прелесть Англии. Он все глубже погружался в чтение, пока ненужные старые книги не стали его единственной радостью. Всей душой ненавидя расхожую фразу «А какая от этого польза?» – Луциан выбирал только самые никчемные и бесполезные книги. Он добрался до загадочной торжественности и символики каббалы, до пугающих тайн средневековых трактатов, до обрядов розенкрейцеров, загадок Вогена и ночных бдений алхимиков – все это доставляло ему удовольствие. Луциан брал книги с собой, отправляясь на прогулки к холмам и лесам. Он устраивался с ними где-нибудь на узком мостике или на берегу лесного озера, и его подхлестнутое книгами воображение сливалось с колдовством лесной страны, образуя единое целое. В крепость Луциан не заходил: ему довольно было дойти до замыкавших дорогу ворот и оттуда увидеть насыпь, окруженную заколдованными стенами фиолетовую вершину и кольцо черно-зеленых дубов, вечно хранивших тайну его давнего сна. Он посмеивался над самим собой и над видением, посетившим его жарким августовским днем, но в глубине души по-прежнему жил отсвет того странного события – неугасимый, как пламя костра, разложенного цыганами посреди холмов в туманную ночь и осветившего безлюдные места. Порою, когда Луциан с головой погружался в свои книги, пламя тайного восторга, ярко вспыхнув, освещало его душу, все ее причудливые, залитые солнечным светом берега, но он всякий раз пугался своего счастья и своего восторга. Упорное и печальное уединение превратило Луциана в аскета, и слишком бурные переживания стали казаться ему опасными. Он уже начал писать – сначала робко и неуверенно, потом все с большим увлечением. Луциан показал свои стихи отцу, и тот со вздохом признался, что когда-то, в годы учебы в Оксфорде, тоже мечтал стать поэтом.

– Очень хорошие стихи, сынок, – сказал старый священник. – Только вряд ли тебе удастся их где-нибудь напечатать.

Так Луциан и жил, читая все подряд, подражая всему, что пробуждало его воображение, пытаясь перенести размеры греческой и римской поэзии на почву английского языка, пробуя себя то в комедии масок, то в пьесах в духе семнадцатого века, задумывая великолепные книги, в написании которых ему никогда не удавалось продвинуться дальше первой страницы, потому что он не умел перенести на бумагу свои чудесные видения. И все же этот пустой досуг, эти бесплодные радости творчества не были вовсе бесполезными – они превращались в броню, защищавшую его сердце.

Однообразно проходили месяцы, и нередко Луциан был близок к отчаянию. Он писал, задумывал все новые и новые книги, наполнял корзину для бумаг разорванными, неудавшимися набросками. Порою Луциан посылал стихи или статьи в журналы, простоудушно не понимая правил издательской игры, но чувствуя ее безумную сложность. Счастье, что поле битвы пока покрывал туман и Луциан не мог представить численность выстроившихся войск. Ему и так было достаточно трудно: он бродил по извилистым дорожкам тоненьких безымянных книг

– в их сумеречных лесах, среди их холмов он чувствовал дыхание мощного ветра, проносившегося из лощины в лощину, – и возвращался домой, полный мыслей, восторга, тайн, которые так и просились воплотиться в записанные на бумаге слова, но результатом всех его усилий оказывалась лишь напыщенность. Его уделом были натянутая стилизация, одеревеневшая фраза, темная, неуклюжая речь – Луциан никак не мог постичь великую тайну языка, и ему уже казалось, что его звезды сияют лишь во тьме и исчезают при дневном свете. Периоды отчаяния затягивались, побед было мало, и они неизменно сменялись поражениями. Он засиживался допоздна – до того времени, когда отец, выкурив последнюю трубку, отправлялся к себе. С мучительным трудом Луциану удавалось написать страницу, после чего он в отчаянии рвал ее и шел спать, ощущая, что бессмысленно потратил еще один день. Порою привычный пейзаж вокруг родительского дома вселял тревогу, а безлюдные вершины холмов и темневшие вдали леса казались символами внутренней жизни чужого Луциану человека – его самого. Бывало, погрузившись в свои бумаги и книги или же задумавшись во время одинокой прогулки, а иной раз и посреди докучной болтовни местного «светского общества», Луциан с внезапной дрожью ощущал присутствие страшной тайны. И тогда трепещущее пламя пробегало по его жилам, и вновь возвращалось воспоминание о видении, посетившем юношу в чаще леса, а за ним вставало и более раннее видение – голые черные сучья деревьев и облако пламени над ними. И хотя Луциан остерегался той уединенной долины, а в последнее время даже избегал глядеть в сторону холма с крепостными укреплениями и черно-зелеными дубами, видение преследовало его все настойчивее, превращаясь в символ чего-то сокровенного и неопределенного. Там, в древних стенах, обрела убежище и храм буйная, пирующая плоть мира – и Луциан в тоске и страхе подумывал о побеге. Он мечтал укрыться от своих грез в пустыне Лондона, мечтал затеряться в грозном шуме и великом молчании современного города.

## Глава 2

Луциан все больше волновался за судьбу своей рукописи. К двадцати трем годам он накопил достаточно опыта в этой области и понимал, что издатели торопиться не будут, но, с другой стороны, его книга лежала у мистера Бейта уже три месяца. Первые шесть недель Луциан и не ждал ответа, но день шел за днем, и постепенно жизнь превращалась в кошмар. Каждое утро несчастный писатель хватал почту и, задыхаясь, искал в ней свой приговор. Остаток дня он проводил, разрываясь между надеждой и страхом. Порою Луциан уверял себя, что успех ему обеспечен, мысленно перебирал страницы, написанные с радостной легкостью или с мучительным трудом, вспоминал удавшиеся, замечательные главы – а потом спохватывался и начинал сокрушаться, что у него не было никакого опыта и он, несомненно, написал незрелую, нелепую и совершенно непригодную для издания книгу. Луциан пытался сравнить те места, которые казались ему наиболее удачными, с произведениями, снискавшими признание литературных критиков, и ему казалось, что и в его книге есть кое-что хорошее. Особенно ему нравилась первая глава. Наверное, уже завтра он получит ответ. Так проходили дни, и мимолетные вспышки надежды делали эту пытку еще мучительней. Его растянули на дыбе – порою боль отпускала, и палачи бормотали ему слова утешения, но затем боль неизменно возвращалась. Наконец Луциан не выдержал и написал Бейту, униженно прося сообщить, поступила ли его рукопись в издательство. Он получил чрезвычайно вежливый ответ. Редакция извинялась за такую задержку, вызванную болезнью ответственного за чтение рукописей человека, но в течение недели отзыв непременно будет готов. Письмо завершалось еще одной порцией извинений. «Окончательный ответ» пришел, разумеется, не в течение недели, а почти через месяц – издатели благодарили автора за любезность, с которой тот предоставил им свою рукопись, однако, к великому сожалению, в данный момент не могли взять на себя публикацию этой книги. Луциан испытал неимоверное облегчение – самое неприятное было уже позади, исчез и тошнотворный страх, с которым он каждое утро вскрывал свою корреспонденцию. Он вышел в сад и устроился в старом деревянном кресле в своем любимом закутке, всегда залитом солнцем и надежно защищенном стеной от злого мартовского ветра. Вместе с рецензией издательство прислало ему изящную брошюрку, на обложке которой стояло: «Бейт и К°. Новые издания».

Луциан устроился поудобнее, раскурил трубку и начал просматривать каталог. Одним из первых значился «Крепкий орешек», новый трехтомный роман из жизни спортсменов, пера достопочтенной миссис Скюдамор Раннимед, автора книг «Вперед!», «Команда Мадшира», «Жокеи» и др. Роман, разосланный во все библиотеки, был объявлен «Пресс» «блестящим образцом беллетристики». Обозреватели сходились во мнении, что в книге миссис Раннимед фантазии и тонкого юмора присутствовало больше, чем в дюжине других спортивных романов. «Ревью» обнаружило в этой книге «живость, блеск и редкое в наши времена изящество», а некая непонятная Миранда, критик из «Изящного общества», прямо-таки захлебывалась от эмоций. «Прости меня, Аминта, – обращалось это юное воплощение изящества к своей, по видимому столь же утонченной, подруге, – я обещала послать тебе новые выкройки мадам Лулу и совсем забыла о них. Я должна немедленно рассказать тебе замечательную новость! Вчера вечером ко мне зашел Том. Он был просто в восторге, прочитав новую книгу миссис Скюдамор Раннимед „Крепкий орешек“. Он сказал, что все „Изящное общество“ только об этой книге и говорит и что толпа, сбежавшаяся к книжному магазину, целый день мешала движению транспорта. Как ты знаешь, я читаю все, что выходит из-под пера миссис Раннимед, а потому немедленно позвала мою Миггс и строго-настрого приказала ей купить, выпросить или украсть где-нибудь эту книгу. Должна признаться, я „жгла свечу“ всю ночь – просто не могла оторваться! Так вот, тебе тоже надо непременно прочесть ее – эта книга великолепна!» Почти все авторы в списке издательства Бейта были женщинами – вернее, дамами, – все они

писали романы в трех томах, всех их восхваляли «Пресс», «Ревью» и Миранда из «Изящного общества». А одно из упомянутых в каталоге творений, озаглавленное «Замужество Миллисент» и принадлежавшее перу выдающейся Сары Поклингтон Сэндерс, было, по словам критика, достойно и школьного класса, и книжного шкафа в гостиной, и избранной библиотечки наших изысканно воспитанных дочерей. «И это, – продолжал критик, – есть высшая похвала мисс Сэндерс. Ее роман тем более актуален, что в последнее время мы подвергаемся все большему натиску самоуверенных и громкоголосых „стилистов“. Мы хотели бы напомнить молодым людям, которые упиваются своей начитанностью, изысканностью стиля, сложными периодами и ритмической прозой, что английский читатель ждет совсем других книг. Вечернее чтение, неторопливое описание тихого семейного круга, достоверная повесть о наших мужественных и честных сельских эсквайрах, превыше всего дорожащих своей славой охотников, или же повесть о жизни невинной, здоровой духом английской девушки, о какой, кстати, с таким блеском поведала нам мисс Сэндерс, – вот темы, которые интересуют английского читателя. Эти книги будут радушно приняты в каждом английском доме, куда не пробиться изуверу изысканности с его отвратительными „откровениями“».

Дочитав брошюрку, Луциан почувствовал облегчение: он нашел в ней искреннюю готовность биться за правду и добро. За энергичными цитатами, которые так щедро рассыпала по страницам своего буклета фирма «Бейт и К°», Луциан разглядел сияющее, увенчанное очками и бакенбардами лицо критика и нежное сердце, слегка придавленное тесноватым уже для него жилетом. Даже завершающий пассаж был прекрасен – вот вам и изящный стиль, раз вы в нем так нуждаетесь. Рыцарь нежного румянца и ясных глаз доказал, что способен драться оружием соперника, – было бы только желание унижаться до подобных мелочей. Луциан откинулся в кресле и громко захохотал – так громко, что полосатый кот, забыв про всех своих кошек, испуганно выглянул из кустов, явив на свет физиономию, напоминавшую вышеупомянутого критика, – круглую, невинную, обрамленную бакенбардами. Наконец Луциан извлек из конверта несколько страниц своей рукописи и в веселом расположении духа принялся их просматривать. «По крайней мере теперь ясно, – думал он, – что моя жалкая книжонка не соответствует ни одному, даже самому низкому, стандарту мистера Бейта». Луциан писал свою книгу полтора года, пытаясь передать прозой тайное очарование куполообразных холмов, волшебство потаенных долин, грохот замутненного, вспененного ручья, проносащегося осенью по темному и голому лесу. Все дневные видения и ночные труды Луциана были воплощены в этих вдохновенных страницах. Он работал честно, без халтуры, по многу раз переписывая страницы, пытаясь поймать ритм, не жалея времени и сил – лишь бы вышло хорошо, достаточно хорошо, чтобы книгу опубликовали и ее захотел купить самый разборчивый читатель. Луциан просмотрел свою рукопись и с удивлением обнаружил, что на его вкус это была отличная работа. За четыре месяца он кое-что подзабыл, и теперь его собственная проза казалась ему необычной и свежей, словно ее написал другой человек. Он то и дело натывался на замечательные страницы, на чувства, которые можно было назвать банальными, лишь покрывив душой. Другое дело, что все это проигрывало в сравнении с его непосредственными впечатлениями: он видел охваченный пламенем очарованный город, величественный и страшный, и пытался воплотить этот образ в той жалкой глине слов, которая имела в его распоряжении. И все же, несмотря на разрыв между замыслом и воплощением, книгу нельзя было назвать неудачной. Луциан аккуратно сложил свою рукопись и напоследок еще раз проглядел каталог издательства Бейт. Оказалось, что «Крепкий орешек» выходит не только в трех томах, но и в третий раз. Что ж, неплохо – теперь, по крайней мере, ясно, что следует писать ради успеха. Если очень постараться, то в один прекрасный день можно добиться похвалы даже от самой Миранды. Быть может, сия достойная девица отвлечется от своих, разумеется, совершенно бескорыстных рекламных трудов, от всех этих советов милым друзьям «зайти к Джамперам и попросить самого мистера Джампера показать вам чудные синие обои с желтыми цветочками

стоимостью всего в десять шиллингов» – и воздаст хвалу его книге. Луциан отложил рукопись и вновь захохотал. Он смеялся над писателями, книгами, критиками – смеялся до тех пор, пока не понял, что вот-вот расплачется. Он знал теперь, что такое английская проза и английская критика, но это знание оборачивалось для него пошлой трагедией.

Луциан спрятал отвергнутую рукопись в нижний ящик стола. Отец утешил его цитатой из Горация: «Всякая книга должна девять лет таиться во тьме». Жаловаться было не на что, хотя Луциан и предпочел бы, чтобы рецензирование рукописей занимало не так много времени. Но убиваться по этому поводу он не собирался. Ему не хотелось походить на мелкого коммивояжера, для которого скорая прибыль является естественным делом, а не подарком судьбы. Луциан предпочел забыть свою первую книгу и сел писать новую, в надежде, что она получится лучше. Он выбрал свой путь и не собирался терять мужество после первой же неудачи. Теперь оставалось только найти тему для новой книги. Ему показалось было, что он напал на подходящий сюжет, – Луциан заготовил материал, расписал главы для одной пришедшей на ум занятой истории, заранее рассчитал все эффекты и сам же первый с нетерпением ждал, когда они сработают. Но энтузиазма хватило ненадолго – вскоре почва начала уходить из-под ног, и он отбрасывал одну страницу за другой. Стройные периоды не ложились на бумагу, персонажи застыли и одеревенели – они так и не ожили. Луциана охватило уже знакомое отчаяние, отчаяние художника, который впустую бьется над мертворожденным замыслом. То, что вначале казалось живым огнем, под его пером превратилось в бездушную глыбу льда. Луциан бросил работу, не переставая удивляться, как он вообще вообразил, что может писать. И вновь напомнила о себе уже приходившая в голову мысль: из него что-то получится лишь в том случае, если он убежит из родных мест, вырвется из-под сени этих гор и вольется в мрачную, рокошущую лондонскую толпу. Но бежать Луциан не мог. Его дальний родственник, прежде обещавший помочь, в ответ на новые просьбы лишь выразил сожаление по поводу того, что юный Тейлор превратился в бездельника и тратит свое время на пустое бумагомарательство – нет чтобы попытаться заработать себе на жизнь! Луциана это письмо задело, но отец по своему обыкновению лишь мрачно ухмыльнулся. Мистер Тейлор вспомнил, как в дни своего благополучия одолжил немалые деньги этому самому родственнику, попавшему тогда в весьма нелегкое положение, и вновь подумал о человеческой неблагодарности.

Луциан почти забыл об отвергнутой рукописи, как вдруг совершенно неожиданное обстоятельство напомнило ему о ней. Месяца через три после того, как он получил отказ, ему довелось просматривать «Ридер». В одной из рецензий он вдруг наткнулся на весьма пространную цитату. И смысл ее, и стиль были ему хорошо знакомы – да и немудрено, ведь каждую свою фразу он продумывал долго и с любовью. Луциан вернулся к началу рецензии. Она была исполнена хвалебных слов и изо всех сил превозносила новую книгу мистера Ритсона, называя ее несомненным шагом вперед по сравнению с его предыдущей (тоже, конечно, замечательной) книгой. «Автор открыл залежи чистого золота, – так завершалась статья, – и мы с уверенностью предсказываем ему большое будущее». Луциан еще не достиг тех высот духа, что были свойственны его отцу, – он не сумел ухмыльнуться так, как ухмылялся пастор, который, как говорили, компрометировал свое звание. Цитата, сопровождавшаяся столь неумеренной хвалой, слово в слово совпадала с текстом рукописи Луциана, спрятанной в ящике стола, из книги, отвергнутой разборчивым издательством мистера Бейта, которое, кстати, и выпустило в свет превозносимую «Ридером» работу мистера Ритсона. У Луциана нашлось несколько шиллингов, и он немедленно отправил лондонскому книготорговцу заказ на «Зеленый хор» – почему-то именно так неизвестный плагиатор решил назвать «свой» роман. Это было 21 июня, и Луциан с полным правом рассчитывал получить книгу 24-го, но верный своим привычкам почтальон ее не доставил, и после обеда Луциан решил пройти пешком до Каэрмаена, в надежде, что книгу принесли с вечерней почтой или что почтальон просто-напросто забыл прихватить ее. Местный почтальон нередко забывал на почте тяжелые посылки, тем более в



жаркие дни. А 24 июня было не только жарко, но и душно. Серые клубы облаков заполнили небо, влажный туман тяжело навис над полями и дымился в долинах. К пяти часам дня – Луциан как раз вышел из дому – туман отчасти рассеялся, и сквозь влажный, дрожащий воздух золотыми ручьями заструились солнечные лучи, создававшие воздушные дорожки и сверкающие островки в гуще облаков. Вечер выдался тихим и светлым. Избегая встречи с «варварами» (так Луциан именовал про себя достопочтенных обитателей города), задними улочками он вышел к почте, в помещении которой также располагался главный магазин города.

– Да, мистер Тейлор, – сказал Луциану клерк, протягивая сверток, – для вас есть посылка. Уильям забыл ее утром.

Луциан зажал книгу под мышкой и неторопливо зашагал по продуваемым ветром переулкам, пока не вышел за пределы города. Едва выйдя на большую дорогу, он отыскал укромное место возле какой-то изгороди, разорвал веревку и развернул бандероль. Рецензент не соврал: «Зеленый хор» был издан «со вкусом». Обложка цвета старой бронзы, ровный золотой обрез, широкие поля, черный «старинный» шрифт – каждая мелочь свидетельствовала об изысканном вкусе фирмы «Бейт и К°». Луциан торопливо разрезал страницы и начал читать. Оказалось, что он был несправедлив к Ритсону: сей признанный мастер пера не просто переписал его книгу. В изящном маленьком томике было двести страниц. Из них примерно девятью принадлежали Луциану, но мистер Ритсон вполне искусно и умело вплел их в новый сюжет. Сама по себе работа была неплоха, мешало только пристрастие автора к систематизации – книга походила на перечень примет открытой Луцианом страны. Но именно этот «каталог» и принес новому произведению такой успех, о каком Луциан даже и не мечтал. Порой Ритсон слегка изменял стиль заимствованных им страниц, и, за исключением двух-трех случаев, Луциан вынужден был согласиться, что эти изменения улучшали текст. Луциан раскурил трубку, прислонился к изгороди и попытался хладнокровно во всем разобраться, взвесить свое знание человеческой натуры, свои отношения с местным «обществом», разобраться в своих впечатлениях от «Зеленого хора» и понять незначительный эпизод, что привлек его внимание этим вечером в Каэрмаене. Скучая в очереди на почте, Луциан случайно услышал разговор двух старух, остановившихся под окном. Насколько он понял, обеих постигло одно и то же несчастье: они обратились за вспомоществованием к викарию (обе, видимо, были ленивыми старыми грешницами, всю жизнь попивавшими за ужином эль и в результате не сумевшими собрать себе сокровищ на земле). Одна из старух была убежденной и упорствующей в своей ереси католичкой. Ей посоветовали просить милостыню у своих священников, «которые вечно толкуются поблизости и высматривают, чего бы стащить». Вторая принадлежала к неконформистам, и ей было сказано, что «у мистера Диксона хватает забот и с добрыми христианами». Миссис Диксон с дочерью Генриеттой собирали пожертвования и отвечали за раздачу пособий. Как миссис Диксон не раз говорила миссис Колли, дело кончится тем, что им придется содержать всех нищих в округе, а они, право же, не могут себе этого позволить. Большая семья тоже требует немалых расходов, и давно уже пора купить новые платья девочкам. «Мистер Диксон все время напоминает нам, что бездушная благотворительность может оказать самое дурное влияние на нравы простых людей». Луциану тоже доводилось слышать эти мудрые наставления, и он живо вспомнил о них, прислушиваясь к хриплым жалобам опустившихся, голодных старух. На самой границе города, в одном глухом переулке, он встретил типичного «здорового английского мальчика», пинавшего больную кошку, – у бедняжки едва хватило сил заползти под дверной порог, где, скорее всего, ей и предстояло умереть. Луциан знал, что, поколотив мальчишку, он ничего не добьется, и все же с удовольствием поколотил его. А на углу, где стоял щит, отмечавший выезд из города, Луциан наткнулся на объявление: в городской школе намечается собрание, посвященное сбору средств в пользу португальской миссии. Заголовок гласил, что сие богоугодное дело свершится «с благословения лорда епископа» под председательством достопочтенного Меривейла Диксона, викария Каэрмаена, и при участии местного

эскавайра и мирового судьи Стенли Джервейза, а также других представителей духовенства и дворянства. Сеньор Диабу, «бывший католический священник, а ныне евангелический просветитель Лисабона», выступит перед собравшимися с докладом, после чего устроители ожидают «добровольных пожертвований, необходимых для продолжения этой боговдохновенной работы». Развалившись в тени возле изгороди, Луциан принялся обдумывать план статьи в защиту йеху. Каждый может сказать, что они примитивны и нецивилизованны, но не следует забывать, что их многочисленные недостатки вызваны униженным положением, а те немногие достоинства, что имеются у несчастных персонажей Свифта, следует всецело приписать самим йеху. К тому же эти персонажи сильно выигрывают в сравнении с представителями современной человеческой расы. Йеху незнакомы с бейтовской системой книгоиздания, они никогда не приютили бы и тем более не стали бы превозносить паршивого гуингнма, предавшего свою лошадиную расу, и, уж конечно же, Свифт, при всем его пристрастии к мельчайшим подробностям, не догадался бы выделить среди йеху «достойных» и «достопочтенных». Поразмыслив, Луциан решил, что не совсем уверен в последней части своей апологии, – лошади, правившие миром Свифта, выделяли среди йеху отдельных приближенных, которым поручалась более легкая домашняя работа, так что этот пункт защиты, пожалуй, был ненадежен. Выстраивая параллели, Луциан хмуро улыбался, но сердце его по-прежнему сжигала злоба. Он перебирал все печальные воспоминания, все пережитые им унижения. В школе учителя презирали и высмеивали его – мальчишке, видите ли, хотелось знать что-то еще, кроме обычного домашнего задания! Юношей ему приходилось терпеть наглость всех этих жалких людишек, живших рядом с ним. Уши Луциана до сих пор горели от насмешек над его бедностью, а перед глазами вставала ехидная гримаса какой-то ничтожной тупоумной женщины с манерами и интеллектом свиньи, когда он прошел мимо нее в своих лохмотьях, смиренно опустив глаза долу! Всю жизнь его, как и отца, преследуют насмешки и презрение – презрение этих животных! Эта мразь, принявшая человеческий облик, созданная только для того, чтобы пастись возле богатых, раболепствовать перед ними, не гнушаться никакой подлостью, если только она выгодна тем, кому принадлежит власть, не пренебрегать никакой, самой малой, самой гнусной жестокостью, если эта жестокость направлена против бедных, зависимых и униженных, – вся эта омерзительная, непристойная толпа хихикала и указывала на Луциана пальцем. Эти мужчины и женщины толковали о святынях и падали на колени перед грозным алтарем Господа, перед пламенным алтарем, где, как сами они утверждали, им являлись ангелы и архангелы и все силы Небес, – однако в своей церкви они отвели один придел богатым, а другой – беднякам. А ведь это была отнюдь не какая-то особая местная порода. Преуспевающие лондонские предприниматели и удачливые писатели тешились страданиями несчастного, которого они ограбили и унизили, в той же мере, в какой «здоровый английский мальчик» с хохотом наслаждался жалобными воплями больной кошки, жаждавшей хотя бы умереть в покое. Перебирая всю свою жизнь, Луциан видел, что, несмотря на все причуды и неудачи, он никому не причинял сознательного зла, никогда не помогал преследовать несчастных и не одобрял, когда на его глазах это делали другие. Луциан подумал, что, когда он умрет и черви будут глотать в могиле его тело, даже эти мерзкие беспозвоночные покажутся ему более приятной компанией, чем люди, среди которых он жил и которых он должен звать братьями! Вонючие твари! «Да я скорее дьявола назову братом! – поклялся он себе. – Я лучше в аду буду искать себе друзей». Глаза его налились кровью; и когда он взглянул вокруг, небо показалось ему багряным, а земля приобрела цвет огня.

Солнце уже садилось за горой, когда Луциан отправился в обратный путь. Доктор Барроу, проезжая мимо в своей коляске, весело поздоровался с ним.

– Довольно длинный путь, если идти пешком по дороге, – заметил он. – Раз уж вы забрались так далеко, то почему бы вам не пойти напрямик через поле? Это проще простого: сверните после второго столба налево, а дальше все время прямо.

Луциан поблагодарил доктора Барроу и сказал, что попробует срезать угол, как тот советует. Доктор весело покатил домой. Барроу был добрым старым холостяком – подчас он настоящему жалел бедного мальчика и задумывался над тем, как ему помочь. Вот и сейчас он спохватился, припомнив, как странно выглядел Луциан, и пожалел, что не предложил ему сесть в коляску и не позвал к себе на ужин. Хороший кусок баранины, добрая кружка эля, виски с содовой, трубка отменного табака, парочка раблезианских анекдотов из накопленной за долгую жизнь сокровищницы – и бедный малый сразу почувствовал бы себя лучше. Барроу полуобернулся на сиденье, высматривая Луциана, но тот уже скрылся за поворотом. Чуть поразмыслив, доктор поехал дальше – влажные испарения, поднимавшиеся от реки, заставляли его поеживаться от холода.

Луциан медленно шел по дороге, отыскивая столб, о котором говорил доктор. Хоть какое-то приключение, думал он, – добраться домой по незнакомой дороге. Он знал, в каком направлении нужно идти, и считал, что не может сбиться с пути. Луциан прошел через опустевшее поле, затем тропинка взяла круто вверх, и вскоре он увидел с вершины холма и город, и простиравшуюся за ним долину. Река была едва различима внизу – закат превратил желтую, застоявшуюся воду в темную медь. Огненные озера, шаткий тростник на кромке луга, черная полоса леса на ближней горе – все это было видно отчетливо и ясно, но слабый свет сумерек придавал знакомой местности таинственность, а потому даже голоса, доносившиеся с улиц Каэрмана, звучали необычно в вечернем тумане. Внизу виднелись сбившиеся в кучу дома и неровные, покосившиеся крыши обшарпанных, продуваемых всеми ветрами переулков; то одна, то другая островерхая крыша поднималась над соседними. Внизу Луциан различил темные развалины амфитеатра и черную полосу деревьев на фоне белой римской стены, приобретшей под ливнями и зимами восемнадцати столетий оттенок спелого воска. Тонкие, причудливые, неразличимые голоса долетали до вершины холма, – казалось, какой-то пришлый народ заселил давно умерший город и теперь на неизвестном языке рассказывает об ужасных и странных делах. Дрожащее, словно жертвенный огонь, солнце скользнуло вниз по небу, ненадолго зависло над темной громадой холма и внезапно исчезло. В его закатном отсвете тучи съезжались и стали багровыми. Извилистая река, причудливо отражавшая перемещение и быструю смену облаков, казалось, ожила – она закипела и набухла, словно наполнилась кровью. Но над городом уже сгущалась тьма – быстрые, проворные тени подкрадывались к нему от леса, и со всех сторон собирались клубы тумана, будто легион призраков выступил в поход против города и поселившейся в нем пришлої расы. Внезапно тишину разорвала пронзительная капризная мелодия – она звала и отзывалась на чей-то зов, она повторялась снова и снова, пока не оборвалась почти истошным воплем, прокатившимся по склону холма. Наверняка какой-нибудь мальчишка из школьного оркестра упражнялся в игре на горне, но Луциану эта музыка показалась сигналом римской трубы, *tuba mirum spargens sonum*<sup>1</sup>, командой, звуки которой разнеслись среди горных расщелин, эхом отдались в темноте дальнего леса и на старом кладбище. Луциан представил себе, как распахиваются глядящие на восток двери гробниц и мертвые легионы поднимаются вслед за своими орлами. Центурия за центурией проходили мимо него, утопленники поднимались со дна реки, из-под земли вставали воины, чье оружие грозно блистало в мирных садах. Выйдя с кладбища, они строились в манипулы и когорты, и с последним звуком трубы старая крепость над городом отпустила своих мертвых. Сотни и тысячи призраков встали под знамена в зыбком тумане, готовые идти туда, на старые стены, которые они сами сложили когда-то давным-давно.

Луциан резко обернулся. Стало совсем темно, и он испугался, что заблудился. Теперь дорожка шла по кромке леса. Деревья шуршали и шелестели, словно держали между собой зловещий совет. Впереди, закрывая черную долину, показалась высокая изгородь, и Луциан бессо-

<sup>1</sup> Труба, что сеет дивный клич... (лат.)

знательно направился к ней, не слишком обращая внимание на прихотливые изгибы тропинки. Выйдя из лесной тени на открытое место, он несколько минут простоял в полном недоумении. Перед ним лежала незнакомая мрачная местность. Неподалеку Луциан различал расплывчатые, нечеткие очертания деревьев, впереди – зияние оврага, а дальше в тумане маячили смутные абрисы каких-то неведомых холмов и лесов. Воздух теперь казался абсолютно неподвижным. Луциан огляделся, пытаясь заметить хотя бы какой-нибудь знакомый ориентир. Внезапно тьма вспыхнула багровым пламенем – над холмом вновь открыли заслонку печи, и крутой склон обожгло бледным светом. Луциану показалось, что впереди он различает дерн, обозначающий тропу. Огромное пламя померкло, словно впитываясь в золу, но все еще освещало путь по обрывистому склону. Это мало помогало Луциану – он то и дело спотыкался на неровной почве или проваливался в какие-то рытвины. Некоторое время Луциан сражался с ветвями буйно разросшегося кустарника, потом его ноги увязли в булькающей болотистой почве. Он миновал черную, накрытую тенью долину, задрапированную причудливым ковром сумрачных зарослей. В полной тишине раздавались зловещие звуки леса – чуждое, невнятное, неразборчивое бормотание, то грозное, то жалобное. Луциан упорно шел вперед, надеясь, что идет правильно; он поминутно натыкался на какую-нибудь изгородь или калитку, останавливался и всматривался в туманное переплетение теней. И тут еще один звук прорвался сквозь сгустившийся воздух – бормотание воды, лениво перекатывающейся по камням, сонно журчащей среди старых корней умирающих деревьев и где-то вдали вдруг мощно вливающейся в свободное русло. Свежее дыхание ручья уже коснулось Луциана, принеся с собой новые звуки: послышался шепот двух голосов, ведущих между собой бесконечный спор. Ужас охватил Луциана, когда он вслушался в шум воды. Новая безумная фантазия овладела им целиком: он на самом деле слышал два голоса. Какие-то неведомые существа стояли рядом с ним в темноте, обсуждали его жизнь и выносили свой приговор. Сквозь пропасть лет на Луциана обрушилось воспоминание о том, как он заснул в зарослях кустарника и совершил грех против земли, – и вот теперь земля, содрогаясь, требовала отмщения. С минуту Луциан стоял, не дыша и дрожа от страха, а затем слепо зашагал вперед, уже не пытаясь найти тропинку, желая лишь уйти из расставленной ему в этой глухой, бормочущей расщелине ловушки. Он продирался сквозь заросли кустов, царапавших ему лицо и руки. Запутавшись в переплетениях живой изгороди, Луциан упал и, пытаясь высвободиться, жестоко поранился о терновник. Он бросился бежать сломя голову сквозь продуваемый ветром лес, по обнаженной каменистой почве. Он натыкался на заплесневелые стволы и пни, перепрыгивал через обломки деревьев, некогда пораженных молнией и с грохотом упавших на землю много лет назад, и не переставал удивляться призрачному бледному сиянию, похожему на тень света, что под странный аккомпанемент лесного хора выпускали эти бранные останки. Луциан даже не представлял себе, куда бежит, – ему казалось, что он мчится уже много часов, то взбираясь наверх, то скатываясь вниз и все же ничуть не продвигаясь вперед. Ему вдруг пришло в голову, что все это время он стоял неподвижно, а тени и причудливые очертания окружавшей его местности проносились мимо него. Наконец перед ним выросла высокая изгородь. Луциан перелез через нее, но тут же поскользнулся и кувырком полетел вниз – с крутого обрыва в долину. Минуту он лежал неподвижно, оглушенный падением, а затем, неуверенно поднявшись на ноги, с отчаянием и недоумением посмотрел в темноту, не решаясь что-либо предпринять. Впереди было темно, словно в глубоком погребке. Луциан обернулся и увидел в стороне какую-то искорку – будто в окне фермы горела свеча. На подгибающихся ногах он поплелся было к свету, как вдруг из темноты выступила белая фигура. Она плавно двигалась, словно плыла к нему по воздуху. Луциан устремился вниз под гору – ему не терпелось выйти на открытое место. Он уже разглядел столб у дороги, а фигура, по-прежнему скользя, приближалась к нему. Дорога спустилась в долину, и Луциан наконец вполне отчетливо различил ориентир, который так долго искал. По правую руку от него вставала из темноты плоская вершина римской крепости. Свет полной луны растекался по

заколдованным дубам и зеленоватым ореолом рассеивался над горой. Луциан почти вплотную подошел к двигавшейся впереди белой фигуре и вдруг сообразил, что это была самая обыкновенная земная женщина, а ее движения казались такими призрачно-плавными из-за ночной тьмы и сияния луны. У калитки, где он провел столько часов, глядя в сторону крепости, Луциан догнал женщину и пошел рядом. Конечно же он узнал ее – то была Энни Морган.

– Добрый вечер, мастер Луциан, – сказала Энни. – Как темно сегодня, не правда ли?

– Добрый вечер, Энни, – отозвался Луциан, впервые назвав девушку по имени, отчего она радостно улыбнулась. – Поздновато ты гуляешь.

– Да уж точно, сэр. Я, знаете ли, относил ужин старой миссис Гиббон. Она совсем разболелась в последние дни, а позаботиться о ней некому.

Значит, есть еще на свете люди, которые могут заботиться о других, а доброта и милосердие не превратились в миф, общественную условность вроде некоторых устаревших юридических терминов, не имеющих никакого отношения к реальности. Эта мысль потрясла Луциана, чьи духовные и физические силы были изрядно подорваны безумием нынешнего вечера, затянувшейся прогулкой и усталостью. Такому декаденту и вырожденцу, как он, неизменные невзгоды, доставляющие массу удовольствий «здоровым английским мальчикам», казались Божьей карой и адским пламенем. В конце концов, господа «Бейт и К°» были самыми обыкновенными деловыми людьми, а все эти омерзительные Диксоны, Джервейзы, Колли – столь же обыкновенными узколобыми дворянами и священниками, каких можно встретить почти в каждом тихом провинциальном городке. Любой разумный человек отнесся бы к Диксону как к старому зануде, назвал бы господина Стенли Джервейза, эсквайра и мирового судью, прохвостом, а всех без исключения местных леди – пустыми трещотками. Но Луциан не был разумным человеком, а потому медленно брел, с головой уйдя в невеселые мысли, и то и дело оступался на каменистой дороге. Он почти забыл о девушке, идущей рядом. Некое таинственное чувство росло и набирало силу в его сердце: опять нахлынули все муки юности, все надежды и разочарования. Луциан снова вспомнил о всеобщем презрении, и все та же старая мысль закрутилась у него в голове: «Лучше я демонов назову братьями и поселюсь вместе с ними в аду». Он задыхался, с трудом ловя ртом воздух. Он чувствовал, как непроизвольно подергиваются мышцы его лица, как безумная дрожь сотрясает все его тело. Он воплощал в себе то видение Каэрмаена, что пригрезилось ему час назад: город, заплесневелые стены которого осаждало вставшее из могилы войско. Жизнь, мир, солнечный свет остались позади – Луциан вступил в царство воскресших мертвецов. Кельтские предания обступили его со всех сторон, выйдя из таинственных лесов; Луциан взывал к миру, и древние предки, известные как «малый народец», выползли в ответ из пещер, бормоча свои заклинания. Они собирались вокруг Луциана, шипя по-змеиному, и все те желания, что сотни лет дремали в крови его народа, вдруг вспыхнули в нем.

– Кажется, вы совсем устали, мастер Луциан. Можно я возьму вас за руку? Здесь очень плохая дорога.

Луциан споткнулся о большой камень и едва не упал. Женская рука нащупала в темноте его руку. Он застонал, почувствовав прикосновение теплой и нежной кожи, и судорога сладкой боли пробежала от его руки к сердцу. Луциан поднял глаза и обнаружил, что с тех пор, как Энни впервые заговорила, они прошли всего лишь несколько шагов. Но ему казалось, что они уже много часов идут рядом! Луна только что поднялась над дубами, и над черной горой встало бледное зарево. Луциан остановился и, крепко сжимая руку Энни, заглянул девушке в лицо. Волшебное сияние лунного света коснулось глаз молодых людей и отразилось в их зрачках. В последние годы Луциан почти не изменился внешне – его лицо осталось матовым, чуть смуглым и узким, как вытянутый овал. Следы перенесенных страданий уже проложили морщинки в уголках его глаз, и черные волосы успела отметить седина. Но юношеское восторженное любопытство сохранилось: и то, что Луциан увидел сейчас в глазах девушки, загло его взгляд вновь

ожившим пламенем. Энни тоже остановилась, не пытаясь отнять руку, и вложила в ответный взгляд все свое сердце. Она была чем-то похожа на Луциана – кожа того же оливкового цвета, но лицо – прекрасное и нежное, как летняя ночь. В ее черных глазах не было печали, а улыбка на алых губах вспыхивала, точно пламя, освещавшее безлюдный и темный лес.

– Как же вы устали, мастер Луциан! Давайте посидим здесь, возле калитки.

– Дорогая моя, дорогая! – только и сумел пробормотать Луциан, когда их губы вновь слились в поцелуе, а руки сомкнулись в крепких объятиях.

Луциан уронил голову на грудь своей возлюбленной и разрыдался. Слезы текли по лицу бедняги, рыдания сотрясали тело в самый счастливый миг его такой несчастливой жизни. Девушка склонилась над Луцианом, пытаясь утешить, но тщетно – рыдания были для него и торжеством, и утешением. Энни что-то шептала ему, прижимая ладонь к его сердцу. Это были прекрасные, колдовские слова, зачаровавшие Луциана, словно древняя песня. Он не мог разобрать их смысла.

– Энни, любимая моя! Любимая Энни, что ты сказала? Я никогда не слышал таких прекрасных слов. Что они значат, Энни, скажи мне, что они значат?

Она рассмеялась:

– Так, пустяки, которые няни говорят детям.

– Только не называй меня больше мастером Луцианом, – попросил он, когда они прощались. – Ты должна называть меня просто Луциан. Я люблю тебя, я обожаю тебя, о дорогая моя Энни!

Луциан встал перед девушкой на колени, обхватив ее ноги и поклоняясь ей, как жертвенному алтарю. И она приняла его любовь и поклонение. Он медленно шел следом за Энни и глубоко вздохнул, оставив позади дорожку, что вела к ее дому.

Когда Луциан добрался до дому, никто не заметил произошедшей в нем перемены. Он вошел со своим обычным безразлично-рассеянным видом и сказал, что, пытаясь срезать угол, заблудился. Рассказал Луциан и о том, что встретил по дороге доктора Барроу и именно доктор посоветовал ему идти через поле. Затем вполне равнодушно, словно читая вслух газетную статью, он сообщил отцу, как поступил с ним Бейт, и показал прелестную маленькую книжку, называвшуюся «Зеленый хор». Отец был изумлен:

– Ты хочешь сказать, что это написал ты?

Мистер Тейлор был вне себя от ярости.

– Не все. Посмотри: этот отрывок мой, и этот, и начало этой главы. Почти вся третья глава моя.

Луциан безо всякого интереса захлопнул книгу. Волнение отца казалось ему странным – сам он не придавал никакого значения этой истории.

– Значит, восемьдесят или девяносто страниц этой книги написаны тобой? Эти негодяи украли твою работу?

– Ну да, именно это они и сделали. Если хочешь, я покажу тебе рукопись.

Луциан принес рукопись, по-прежнему упакованную в коричневый пакет с адресом «Бейта и К°» и почтовым штампом, удостоверявшим дату отправки.

– А месяц назад вышла эта книга.

Старый священник, забыв свой пастырский долг, а заодно и свою циничную манеру ухмыляться по самым серьезным поводам, сначала проклял мистера Бейта с мистером Ритсоном, потом обозвал их подлыми ворами, а потом жадно принялся за рукопись, сверяя ее с напечатанным текстом.

– Господи, это же замечательная работа! Бедный мой мальчик, я и не думал, что ты можешь так хорошо писать! – воскликнул он чуть погодя. – Я и сам мечтал об этом занятии в прежние дни в Оксфорде. Старина Билл, наш наставник, хвалил мои статьи, но мне никогда не удавалось писать и вполнину так хорошо, как тебе. А этот чертов мерзавец Ритсон выбрал



лучшие куски из твоей книги и перемешал со своим дерьмом, чтобы его покупали. Ты должен вывести этого прохвоста на чистую воду!

Юный Тейлор лишь тихо посмеивался. Волнение отца казалось ему почти нелепым. Луциан полулежал в одном из старых кресел, покуривая трубку, наслаждаясь горячим грогом, который перепадал ему не так уж часто, и лениво поглядывал из-под отяжелевших век на разъяренного отца. Луциану льстило, что отец так высоко оценил его работу, – ведь мистер Тейлор и вправду был глубоко чувствующим и на редкость эрудированным читателем, умеющим ясно и трезво судить о книгах, – и все же забавно было смотреть на то, как действует на людей печатный текст. В свое время старый священник даже не поинтересовался отвергнутой рукописью, лишь ухмыльнулся, что-то сказал насчет бумерангов да процитировал Горация. А теперь, когда перед ним лежала аккуратно напечатанная книга с чужим именем на переплете, его захлестывало восхищение написанным вперемешку с гневом на «этих мерзавцев». И хотя мистер Тейлор всегда был заядлым курильщиком, сегодня его трубка постоянно коптила, а то и вовсе забивалась дегтем.

– Ты должен разоблачить мерзавцев! – повторил он.

– Ну уж нет. Да и какая разница? Ведь в книге и правда много слабых мест. Неужели ты не видишь, что она совсем незрелая? У меня есть план нового романа, только я еще не начал писать. Но мне кажется, на этот раз я на самом деле ухватил стоящую идею, и если мне удастся проникнуть в самую ее суть, то я напишу книгу, которую всякий захочет украсть. Это так трудно – уловить самую суть; замысел книги похож на шкатулку, которую ты не можешь открыть, хотя и знаешь, что там, внутри, спрятано нечто замечательное. Но я уверен, что на этот раз у меня в руках отличная идея, и надеюсь, сумею с ней справиться.

Голос Луциана был полон восторга, но мистер Тейлор посмотрел на сына с недоумением. Он не мог разделить восторга по поводу еще не начатой книги – этого неуловимого призрака из мира нерожденных шедевров и возможных неудач. Отец Луциана любил литературу, но подсознательно разделял общее мнение о том, что любая попытка написать книгу заведомо обречена на провал. Правда, в отличие от большинства людей он не считал хорошую книгу пустяком. Напротив, мистер Тейлор высоко ценил книги. Но только напечатанные книги, а в рукописи он не верил и потому не мог вместе с Луцианом мечтать о «ближайшем будущем». Поэтому он снова вернулся к тому, что его интересовало:

– Но ведь эти негодяи ведут нечестную игру. Ты что же, так и будешь молчать? Нужно сразу написать во все газеты.

– Никто не напечатает мое письмо. А если и напечатают, то надо мной же и будут смеяться. Не так давно один человек написал в «Ридер», ужасно радуясь, что у него украли пьесу. Он сообщил, что послал самому великому Берли маленькую одноактную пьесу, прося у него чисто технического совета. Совет-то Берли дал, но взамен взял пьесу и превратил ее в одну из своих знаменитых комедий. Так утверждает этот человек, и я ему вполне верю. Да только никакого толку от его жалоб нет. «Хорошенькое дело, – скажет любой, кто прочтет его письмо, – какой-то мистер Томсон, о котором никто не слыхал, посылает свой мусор великому Берли, а потом еще и обвиняет гения в плагиате! Разве может такой человек, как Берли, знаменитый драматург, который зарабатывает пять тысяч фунтов в год, одалживать идеи у какого-то Томсона?!» На мой взгляд, эта версия вполне правдоподобна, – посмеиваясь, добавил Луциан. – Именно так и скажут все. А посему я не стану писать в газеты.

– Ну хорошо, мой мальчик, тебе видней. По-моему, ты делаешь ошибку. Однако поступай как знаешь.

– Господи, какие это все пустяки, – зевнул Луциан.

Он и вправду не придавал этой истории никакого значения. Ему было о чем помечтать, и он хотел как можно скорее забыть о тех чувствах, что одолевали безумца, три часа назад в исступлении выбежавшего из Каэрмаена. Глупец – теперь ему было стыдно вспоминать о своем

ничтожном тщеславии. Неистовая ненависть не только грех, она еще и глупость. Объявив всех людей своими врагами, не добьешься ничего хорошего, и теперь Луциан сурово упрекал себя: он уже не мальчик и должен был понимать такие вещи. Но не это главное. Главное – те сладостные мечты, что ждали его, тот тайный восторг, который он берег и прятал в глубине души, та радость, слишком возвышенная, чтобы думать о ней даже в полном одиночестве. И конечно же, замысел книги, от которого он недавно в порыве отчаяния отказался, но к которому час назад вернулся опять. Теперь Луциан знал, что пошел по ложному следу и взялся за свою идею не с той стороны. Разумеется, ничего и не могло выйти из такого начала – это было все равно что читать, перевернув книгу вверх ногами. А сейчас перед ним отчетливо, как живые, предстали персонажи, о которых он столько думал, и все события книги выстроились в стройной последовательности.

Это было подлинное воскресение – сухая схема оживала, обрастала плотью, становилась живой, теплой, таинственной, изменчивой, как сама жизнь. Старый священник стоически раскуривал свою трубку, но с лица его еще не сошло изумление. Порой он украдкой бросал взгляд на безмятежное лицо молодого человека, откинувшегося в кресле у остывшего очага. Мистер Тейлор и впрямь был восхищен рукописью Луциана, он так давно смирился с неудачами и безнадёжностью любых усилий, что успех сына поразил его. Конечно, чисто теоретически старый священник догадывался, что где-то есть люди, которые умеют писать и которые издают свои книги, получая за это деньги, подобно игрокам, поставившим на неперспективную лошадь и сорвавшим бешеный куш, – но какой бы то ни было успех Луциана представлялся ему совершенно невероятным. А мальчика все это, казалось, вовсе не волновало, он, похоже, даже и не гордился тем, что на его работу кто-то позарился, и, что уж вовсе удивительно, не проклинал тех, кто его ограбил.

Луциан удобно развалился в давно утратившем приличный вид старом кресле. Клубы сизоватого дыма медленно поднимались из трубки к потолку. Луциан прихлебывал виски и, казалось, был совершенно доволен жизнью. Мистер Тейлор следил за тем, как сын улыбался, и у него в сердце нарастала щемящая боль: какой красивый мальчик, какие ласковые темные глаза, нежный рот, тонкий девичий румянец на щеках! Отец был растроган. Какой чистый, беззлобный юноша! Пусть немножко необычный, даже странный, но зато незлопамятный. И как терпеливо он переносит глупую болтовню мисс Дикон, тоже внесшей достойный вклад в этот вечерний разговор. Во-первых, заметила она, быть писателем – самая никчемная из известных ей профессий, а во-вторых, нет ничего глупее, чем доверять свою собственность людям, о которых тебе ничего не известно. Отец и сын с улыбкой переглянулись – хотя, кто знает, быть может, мисс Дикон была права. Наконец мистер Тейлор оставил Луциана в одиночестве. С некоторым уважением он пожал сыну руку и произнес почти просительно:

– Ты слишком много работаешь, старина. На твоём месте я бы не засиживался допоздна, особенно после такой прогулки. Ты, наверное, прошел не одну милю, пока отыскал дорогу.

– Я совсем не устал. Мне кажется, я мог бы написать мою книгу прямо сейчас, за одну ночь.

И юноша рассмеялся таким веселым и нежным смехом, какой отец слышал из его уст впервые.

Когда старый викарий вышел из комнаты, Луциан еще с минуту сидел неподвижно, лелея свое главное сокровище, которым еще насладится позже. Он придвинул кресло к столу, именно за этим столом Луциан имел обыкновение писать, и в который уже раз занялся многострадальной рукописью – огромной пачкой исписанной бумаги, запечатлевшей следы многочасовых бесплодных усилий, сердечных мук, напряженного поиска, где среди огромного количества бесполезного хлама в нескольких восторженных и жалких строчках едва светилось утешающее пламя надежды. Он весело разложил страницы и не торопясь принялся с удовольствием перечитывать отвергнутые строки. Один лист привлек его внимание – Луциан вспомнил, как набра-

сывал эти слова под шум ноябрьского дождя. Страница со странным пятном в углу напомнила ему о том дне, когда он встал с постели и, выглянув в окно, увидел превратившуюся в белую сказку землю и вращавшиеся на ветру снежинки. Потом Луциан отыскал главу, начатую мартовской ночью, когда сильный ветер повалил старое тисовое дерево на кладбище у церкви. Он слышал, как вскрикивают в лесу деревья, слышал протяжный вой ветра и видел отчаянное бегство луны, преследуемой торопливыми тучами. Все эти жалкие, заброшенные страницы вдруг стали ему невыносимо дороги. Прежнее отчаяние растворилось во внезапно нахлынувшем блаженстве, и давние часы бесплодных мучений осветило вновь обретенное счастье. Луциан перевернул еще с полдюжины страниц и принялся набрасывать на обороте бумаги план новой книги: на одной странице только сжатую схему, на последующих – всевозможные наметки, идеи, фантазии. Он писал торопливо, буквально захлебываясь от радости. Исполненные очарования фразы струились из-под его пера. Каждая сцена отчетливо вставала перед его глазами, наполняя душу восторгом. Луциан дал волю перу и увидел, как оживают написанные им страницы и как жар жизни, самая суть бытия, трепещет на непросохших листах. Прекрасные грезы воплощались в еще более прекрасные слова, и наконец, откинувшись в кресле, Луциан почувствовал, как стремительно оживает придуманная им история, как ее кровь сливается с его собственной кровью. Он перечел написанное, радуясь мастерству и проворству своих пальцев, а затем любовно уложил тонкую стопку листов в ящик стола и замер в кресле, наслаждаясь мыслью о завтрашней работе.

Остаток ночи Луциан предавался блаженству и нежным грезам. Когда он наконец лег спать, на востоке уже пробивалась робкая алая полоса рассвета.

## Глава 3

Проходили дни, а Луциан по-прежнему купался в блаженстве, рассеянно улыбаясь в ответ на любые вопросы, слоняясь по залитым солнцем окрестностям, вороша дорогие сердцу воспоминания. Энни уехала погостить у замужней сестры, поцеловав его на прощание и велев быть умницей. Луциан уговаривал ее остаться, но она обняла его и снова принялась шептать ему волшебные слова, пока он не смирился. После этого они попрощались. Луциан опустился на колени, поклоняясь своей возлюбленной, и это прощание было столь же удивительным, как и их встреча в лесу. Вечером, отложив в сторону работу, Луциан погрузился в сладостные воспоминания, и вновь все происшедшее показалось ему невероятным, волшебным, колдовским.

– Что же, ты так ничего и не сделаешь, чтобы наказать этих подлецов? – спросил его как-то отец.

– Каких подлецов? Ах да, ты все про Бейта! Я о нем и думать забыл. Нет, я не стану с ним связываться. Не стоит тратить порош попусту.

И Луциан снова вернулся к своим мечтам, уединившись в заброшенном саду у дома. Глупо отвлекаться на мелочи – сейчас у него не было времени даже на то, чтобы заняться новой книгой, к которой он приступил с таким восторгом, а уж о своей старой рукописи Луциан даже не вспоминал. У него было такое ощущение, словно кто-то посторонний рассказал ему о книге, стоившей автору неимоверных трудов и украденной самым бессовестным образом. Лично его это никак не затрагивало. Все, что ему было нужно, – это ночная поляна, звучание нежного голоса и ласковое прикосновение руки, поддерживавшей его, когда он споткнулся в темноте на неровной дороге. Лишь это казалось ему теперь истинным чудом. С тех пор как Луциану пришлось оставить школу и общество столь снисходительных к нему юных варваров, он постепенно растерял все дружеские связи и начал страшиться людей, словно ядовитых гадюк. Они и вправду оказывались ядовитыми – мужчины и женщины, старики и дети находили для него настолько жалиющие слова, что отравили всю его юность. Сперва их злоба удивляла его – наедине с самим собой Луциан перебирал в уме все сказанные по его адресу слова и все брошенные на него взгляды, надеясь, что он все-таки ошибся и ему удастся найти у кого-либо сочувствие. Бедный мальчик долго не мог избавиться от романтических иллюзий; он верил, что женщины должны быть добры и милосердны, что они по природе своей полны участия к несчастным и беззащитным. Мужчинам позволялось быть жестокими, ибо они должны были пробивать себе дорогу в жизни – зарабатывать как можно больше денег и всеми средствами стремиться к успеху. Им дозволялось даже лгать, лишь бы не остаться в проигрыше, и он мог понять то рвение, с каким мужчины судят неудачников. Взять, к примеру, молодого Беннетта, племянника мисс Сперри. Луциан познакомился с ним, когда этот юноша приехал на каникулы к тетушке. Оба мальчика захлеб говорили о литературе. Беннетт показал Луциану свои стихи, и Луциан, прочтя их, испытал смешанное чувство восторга и грусти: стихи были удивительно прекрасны, они звучали словно заклинание и превосходили все, что он сам когда-либо написал или надеялся написать в будущем. Ему даже не удалось скрыть нотку ревности в своих похвалах. Так вот, этот самый Беннетт после многолетних и бесплодных споров со своей теткой в конце концов променял приличное и надежное место в банке на какой-то лондонский чердак, и Луциан ничуть не был удивлен, услышав, какой приговор вынесло бестолковому юнцу местное общество.

Мистер Диксон, как и подобает священнику, разразился потоком высокопарных слов, оплакивая заблуждения юноши, но все остальные утверждали, что Беннетт был самым обыкновенным глупцом. Старый мистер Джервейз прямо-таки багровел от ярости, когда слышал имя Беннетта, а сыновья Диксона вдоволь почесали языки, потешаясь над молодым мечтателем.

– Я всегда говорил, что он самый настоящий осел, – утверждал Эдвард Диксон. – Но мне и в голову не могло прийти, что он способен добровольно отказаться от своего единственного шанса. Ему, видите ли, не понравилась служба в банке! Посмотрим, как ему понравится всю жизнь сидеть на хлебе и воде. Все эти писаки всегда были нищими попрошайками – кроме Теннисона и Марка Твена, конечно.

Луциан жалел беднягу Беннетта, но в то же время понимал и тех, кто осуждал его. Если бы Беннетт работал себе в банке, а со временем еще бы и унаследовал теткину ренту, исчислявшуюся тысячей фунтов в год, то в глазах всех окружающих он был бы на редкость приятным и умным молодым человеком. Но, говоря словами Эдварда Диксона, во имя творчества он добровольно отказался от своего единственного шанса. Он пожертвовал обеспеченным будущим и грядущим общественным положением, вместо того чтобы в согласии с приличиями и здравым смыслом потихоньку выпрашивать деньги у мисс Сперри, пользоваться ее слабостями (ведь в этом нет ничего дурного) и идти навстречу всем ее желаниям; право же, только этого одного и требовали приличия и здравый смысл, а «упрямый осел» остался глух к их призывам. Поэтому и наставительный тон викария, и издевки его сыновей, и багровая краска гнева на лице мистера Джервейза достались Беннетту по заслугам. Луциан считал, что мужчины обязаны быть суровыми судьями, даже если они в глубине души и жалеют преступника. Закон есть закон, и никто не должен уйти неотмщенным. Это правило Луциан применял к самому себе и не сетовал на судьбу за то, что у отца было так мало денег, что приходилось носить обветшалую и давным-давно вышедшую из моды одежду, что ему не довелось учиться в университете и завести там себе «приличных» друзей. Сложись все иначе, он тоже мог бы прямо и гордо смотреть людям в глаза. В костюме, сшитом лучшим лондонским портным, с туго набитым кошельком, полезными связями и твердо обеспеченным будущим он занял бы подобающее ему место в обществе достойных христиан. Теперь же Луциан был вынужден прятаться от презрительных взглядов, но он знал, что заслуживает презрения. Лишь одно смущало его. Он слишком долго хранил в своем сознании романтический образ Женщины, почерпнутый им из стихов забытых средневековых поэтов. Позже Луциан сам смеялся над собой, но тогда, едва покинув школу и освободившись от общества «достойных», но неимоверно грубых юнцов, он создал в своей душе чарующий любовный идеал, которому поклонялся пылко и с робким обожанием. Это была обнаженная, почти бесплотная женская фигура – ее светлые руки обвивали шею раненого рыцаря, на ее груди находил покой преследуемый миром возлюбленный, ее ладони были щедро протянуты навстречу нуждающимся в милосердии, а губы знали не только слова любви, но и слова сочувствия побежденному – убежище для разбитого сердца, источник целебной нежности для израненных друг другом мужчин. Там, лишь там можно было обрести любовь и милосердие, сочувствие и ласку. Прекрасному образу, навеянному фразами типа: «Приди ко мне на грудь!» или «О, сладостный ангел-утешитель!» – Луциан сумел придать немного плотской прелести, и он стал еще притягательней. Однако вскоре этот высокий идеал безвозвратно канул в Лету – если мужчины в той же истории с Беннеттом были полны презрения, то женщины источали яд. Беннетту нравилась Агата Джервейз, да и сама Агата, по словам ее подружек, «положила на него глаз», но стоило Беннетту заупрямиться и на всю оставшуюся жизнь огорчить бедную милую мисс Сперри, как Агата первой нанесла ему удар.

– Вы, значит, решили стать нищим, мистер Беннетт? – кротко спросила она. – Не считите меня жестокой, но я не собираюсь скрывать от вас мое отношение к вашему поступку. Знаете что, вы, писатель?!

Последняя фраза так и осталась незаконченной, ибо прелестная дева настолько зашлась от гнева, что временно лишилась дара речи. Луциану рассказали об этом объяснении, а позднее он услышал и слова миссис Джервейз о том, «как прекрасно держалась наша бедняжка Агата».

– Не горюй, дочка! – говорил старый Джервейз. – Если этот наглый щенок вздумает снова заглянуть в наши края, Томас как следует проучит его кнутом.

– Мое бедное дитя! – неизменно заключала свой рассказ миссис Джервейз. – Подумать только, как она была ему предана! Но конечно, она не могла мириться с таким бесстыдством.

Луциан не на шутку встревожился – он все еще цеплялся за свой идеал и слышал нежный голос, призывающий «искать утешения на женской груди». Но при этом юный Тейлор вынужден был признать, что сыпать перец и лить серную кислоту на только что открывшуюся рану – не очень подходящее занятие для ангела-утешителя.

А потом разразился скандал с мистером Воэном, богатым эсквайром, у которого по праздникам собиралось все высшее общество Каэрмаена. У мистера Воэна был отличный повар, подвалы ломились от запасов превосходного старого вина, и всем своим добром он радостно и щедро делился с соседями и друзьями. Старуха-мать вела хозяйство в этом гостеприимном доме, где, к радости окрестной молодежи, частенько устраивались балы, а зрелые мужчины могли наслаждаться лучшими сортами шампанского. Затем акции, в которые Воэн вложил свои деньги, лопнули, и эсквайру пришлось продать известную на всю округу усадьбу у ручья. Вместе с матерью он переселился в небольшой оштукатуренный домик в центре города – и все для того, чтобы не расставаться с дорогими друзьями. Мужчины говорили ему:

– Какая жалость, что вам не повезло. Предупреждал же я, что эти патагонские акции ненадежны, а вы и слушать не хотели. Надеюсь, мы скоро увидимся. Как-нибудь после Рождества загляните к нам на чаек вместе с миссис Воэн.

– Конечно, мы им очень сочувствуем, – рассказывала Генриетта Диксон. – Нет, мы еще не навещали миссис Воэн. Ведь у них теперь и слуги нет – только работница, которая приходит убираться по утрам. Говорят, старая матушка Воэн, как прозвал ее Эдвард, делает все по дому своими руками. И потом, у них же такой маленький домик – совсем как фермерский коттедж! Разве настоящий джентльмен может жить в таком доме!

А затем мистер Воэн, сильно удрученный, пришел к мистеру Джервейзу и попытался одолжить у него пять фунтов. Мистеру Джервейзу ничего не оставалось, как отказать просителю от дома, и, по словам Эдит Джервейз, «все это очень печально».

– У него был такой растерянный вид, – сказала еще Эдит. – Совсем как у побитой собаки. Конечно, мне его очень жаль, но, во-первых, он сам во всем виноват, а во-вторых, он так глупо выглядел, когда плелся вниз по ступенькам, что я расхохоталась.

Проходя через лужайку перед домом, мистер Воэн слышал у себя за спиной этот жизнерадостный смех.

Молодые девицы, вроде Генриетты Диксон и Эдит Джервейз, могли и позабавиться, поскольку их возраст во всем замечает прежде всего смешную сторону, но почтенные дамы не одобряли такого легкомыслия.

– Тише, тише, дорогая! – приструнила дочь миссис Джервейз. – Тут совершенно не над чем смеяться. Все это слишком ужасно. Вы согласны со мной, не правда ли, миссис Диксон? Эта его экстравагантность, эта греховная расточительность всегда меня ужасали. Вы только вспомните, какой бал он устроил прошлым летом! Мистер Джервейз говорил мне, что одно только шампанское стоило по меньшей мере семь с половиной фунтов дюжина.

– В самом деле, ужасно, – откликнулась миссис Диксон. – Особенно когда подумаешь о тех честных бедняках, которые радуются каждой корке хлеба.

– Вы совершенно правы, миссис Диксон, – вступила в свой черед Агата, – но вы не знаете, как неразумно Воэны обращались со своими арендаторами. Просто отвратительно! Можно было подумать, что Воэн хотел уравнивать их положение со своим. Мы с Эдит однажды гуляли неподалеку от их усадьбы и зашли попросить стакан воды у миссис Джонс, что живет в маленьком симпатичном домике у самого ручья. Так вот, она принялась расхваливать Воэнов самым навязчивым образом и даже показала нам новое фланелевое платье, которое они подарили ей на Рождество. Честное слово, миссис Диксон, такое платье не постеснялась бы надеть любая из нас! Оно было из прекрасной тонкой фланели ценою по меньшей мере полкроны за ярд.

– Я знаю, моя дорогая, я все это знаю. Сколько раз уже мистер Диксон говорил, что это добром не кончится! А сколько раз он сокрушался, что Воэны развратили подачками своих фермеров! Заметьте, при этом они ставили всех нас в крайне неловкое положение. Это было очень дурно с их стороны даже по меркам света и, конечно же, не имело ничего общего с подлинной любовью или благодатью, о которой говорит Павел.

– Если бы дело было только во фланели! – заметила славившаяся строгостью своих нравов девица Колли. – Воэны устраивали настоящие оргии на каждое Рождество. Огромные куски самой лучшей баранины, целые бочки крепкого пива, сколько угодно табаку – и все это даром, как будто они нарочно поощряли самые отвратительные привычки бедняков. Я потом весь январь боялась ходить мимо деревни – так сильно там воняло трубочным табаком.

– Теперь видно, к чему все это приводит, – заключила миссис Диксон. – Мы собирались было их навестить, но после того, что рассказала мне мисс Джервейз, это совершенно невозможно. Подумать только – Воэн пытался доить мистера Джервейза, словно последний нищий. Какая низость!

Каждый раз, когда Луциан сталкивался с действительностью, он отступал в изумлении: в подлинной жизни в женской натуре не обнаруживалось ничего похожего на возвышенную самоотверженность. Под гладкой кожей рук, созданных для ласки, проступали хищные мускулы; ладони, которые должны были щедро раскрываться навстречу несчастным, при каждом удобном случае хватали разящее оружие, а улыбку на прелестных устах вызывала не нежность, а пренебрежение. Собственный опыт Луциана также был неутешителен: миссис Диксон осуждала юного Тейлора, да и молодые леди не очень-то дорожили знакомством с ним. Конечно, они «обожали» книги и «приходили в восторг» от стихов – но это в теории, а на практике их куда больше интересовали разговоры о лошадях, собаках и соседях.

Это были вполне милые девушки, ничуть не хуже любых других провинциальных девиц, которые имели обыкновение охотно выслушивать наставления своих родителей, каждый день с утра читать у себя в комнате Библию, а по воскресеньям занимать свое место в церкви – справа, посреди других хорошо одетых прихожанок. И не их вина, что они не имели ничего общего с идеалом, владевшим душой мечтательного и восторженного мальчика. Более того, если бы в реальной жизни им повстречалась леди его снов, они бы сочли ее дурно воспитанной, нелепо сентиментальной, плохо одетой («Боже мой, дорогая, она же не носит корсета!») и слегка чокнутой.

Некоторое время Луциан оплакивал утрату прелестного и ласкового идеала, созданного его воображением. Когда девицы Диксон проходили мимо него, высокомерно задрав нос, или когда дочери Джервейза проезжали в коляске, обдав его грязью, Луциан поднимал на них глаза, исполненные такой печалью, что эти приземленные создания не могли удержаться от хохота.

– Завел глаза, словно подышающая курица! – восклицала остроумная Эдит Джервейз.

Эдит и в самом деле была прелестна. Луциан не раз пытался заговорить с ней. Он мог бы беседовать с ней даже о фокстерьерах, лишь бы она слушала. Однажды, в гостях у Диксонов, Луциан навязал Эдит свое общество и завел разговор о теннисоновских «Вкушающих лотос», что было полной глупостью. Во время этого разговора капитан Кэмптон все время перемигивался с Эдит, а лейтенант Гэтвик вообще ушел, не скрывая досады, – а ведь он обещал Эдит щенка самой Веспы от самого Вика! Наконец бедняжка не выдержала.

– Все это, конечно, очень мило, – прощепетала она, – но когда же вы все-таки поедете в Лондон, мистер Тейлор?

Луциан знал, что о его несчастье уже известно всем, но так и не понял, что Эдит намеренно причинила ему боль. Он жалобно взглянул на девушку и поплелся прочь – «словно побитая собака», по выражению той же Эдит. Двух-трех таких уроков Луциану хватило. Отныне, встречая юного Диксона или Джервейза, он закусывал губу и собирался с духом для схватки, но, стоило появиться кому-нибудь из соседских ангелов-утешителей, Луциан тут же прятался

за изгородь или поспешно сворачивал в лес. Со временем желание скрыться превратилось у него в непреодолимую потребность. Он стал избегать людей, как в горах остерегался змей. Старый идеал был похоронен – теперь Луциан знал, что самки рода человеческого жалят не хуже змей, и стал избегать их, не испытывая ни малейшего сожаления. У змеи – ядовитое жало, у женщины – ядовитый язык. И с той и с другой лучше не связываться. А потом, когда Луциан брел из Каэрмаена с книгой, которую украл у него предприимчивый Бейт, его захлестнула внезапная ярость, ненависть ко всему человечеству. Теперь он содрогался, вспоминая, как близок был к безумию, как налились кровью его глаза и как заплясали перед ним языки пламени. Он с ужасом вспоминал, как взглянул на небо и увидел багровое зарево, как опустил глаза и узрел кроваво-красный поток, который бушевал у него под ногами и заливал окаймлявшие горизонт темные леса. Ужасно было само воспоминание о той безумной ночной прогулке в тумане, где каждая тень казалась вестницей нависшего над ним рока. Шорох ручья, свист ветра, бледный лунный свет, пробивавшийся меж древесных стволов, его собственная фигура, скользящая среди мрачных теней, – все это казалось Луциану символом печальной и страшной сказки. А когда солнечный свет и сама жизнь остались позади, Луциан вступил в царство мертвых. И уже стали подгибаться его колени, как вдруг каждый мускул окреп и налился новой силой – рядом шла женщина, еще одна представительница этого проклятого рода, и в Луциане вдруг проснулся дикий зверь, почуявший кровь и звериную похоть. Все безумные желания породившей его древней расы отчаянно боролись в сердце. Из туманного леса, из горных пещер выступили духи, осаждая, одолевая юношу, как некогда римское войско осаждало Каэрмаен. Они звали Луциана на страшную битву, они сулили победу, какая не снилась ему в самых мучительных, самых безумных снах. Но вновь из тьмы прозвучал нежный голос – и ласковая рука удержала Луциана на краю обрыва. Воспоминание о том, как он обрел Энни, как в ней воплотился в жизнь идеал его юности, как ожили в его душе страсть, сострадание, любовь, жалость и утешение, окрыляло Луциана. Красивая, полная жизни и силы девушка принесла ему в жертву свою красоту, и только ей он теперь мог поклоняться. Луциан вспоминал, как его слезы упали ей на грудь и как она прижала к груди его голову, шепча невнятные волшебные слова, покорившие его сердце. Как беззащитна была она перед ним, как целовала его, как ласкала его тщедушное тело, которое у других вызывало лишь презрение. Он вновь переживал тот восторг, с каким опустился перед ней на колени и обнял ее ноги, обожествляя и возвышая ее над всеми живущими. Этому телу он поклонялся. По ночам Луциан лежал без сна, вперясь в темноту голодным взором и моля о чуде, о внезапном явлении желанного ему тела. Забравшись в какое-нибудь уединенное место в лесу, он падал на колени, простирался во весь рост на земле и вытягивал руки, словно надеясь коснуться вожденной плоти. Старый священник заметил, что Луциан приобрел привычку набивать карманы своего пальто какими-то листочками: во время прогулок он то вынимал свою рукопись и, что-то бормоча, читал ее, то снова прятал и молча бродил по дорожкам или делал несколько быстрых шагов и замирал в экстазе, словно сквозь толщу воздуха его взору проступал некий сияющий победоносный мир. Мистер Тейлор слегка встревожился, хотя и полагал, что Луциан опять пишет книгу. Старый священник находил в таком процессе творчества нечто непристойное, слишком обнаженное и плотское – как если бы великая актриса вздумала гримироваться прямо на сцене, перед публикой, чтобы все могли видеть, как становятся более округлыми ее ноги, как соблазнительно натягивается трико и искусственно создаются нужные выпуклости, как заимствуется из коробочки румянец, а парикмахер пристраивает на голове актрисы золотые локоны из чужих волос. Мистер Тейлор верил в непорочное зачатие книг. Ему казалось, что они появлялись на свет уже напечатанными, изящно переплетенными и, уж конечно, безо всяких предварительных усилий, – так маленькие дети верят, что мама нашла очередную сестренку в капусте. Но мало каждодневного труда над книгой, Луциан был еще подвержен каким-то странным, экстатическим приступам восторга. Мистер Тейлор наблюдал, как он вскидывает руки к небу и нелепо трясет головой.



У старого священника появились все основания опасаться, что его сын пойдет по стопам тех безумных французов, о которых он когда-то читал: эти юнцы помешались на книгах и решили посвятить им всю свою жизнь. Они проводили целые дни, вымучивая одну и ту же страницу, и многие годы посвящали отделке одного произведения. Они относились к искусству с той же священной серьезностью, с какой англичане относятся к деньгам, и литература значила в их жизни то, что в нашей жизни значит бизнес. Мистер Тейлор, со своей стороны, был склонен рассматривать литературу как «хобби»: он полагал, что каждый писатель должен прежде всего иметь солидную профессию и надежный заработок. «Найди себе работу, – мысленно говорил он сыну, – и пиши по вечерам сколько хочешь. Разве не так было с Диккенсом, Скоттом и Тrolлопом?» К тому же Луциану следовало бы принять во внимание и общественное мнение. Справедливо это или нет, но писатель – если он всего-навсего писатель – не слишком-то ценится в английском обществе. Мистер Тейлор несколько раз перечитывал всего Теккерея и помнил, что старый майор Пенденнис, это олицетворение «света», предпочитал умалчивать о профессии племянника, Уоррингтон лишь нехотя признавался в своих занятиях журналистикой, а сам молодой Пенденнис открыто посмеивался над собственными литературными трудами, служившими для него лишь источником дополнительного дохода. Так смотрели на эти вещи нормальные англичане, и мистер Тейлор был вправе считать их мнение голосом здравого смысла. И когда старый викарий видел, как Луциан целыми днями бродит по окрестностям, а ночами мечтательно склоняется над своей рукописью, да и вообще являет все признаки восторженного бреда, который англосаксами на протяжении всей их истории считался безумием, он тяжело вздыхал и вновь начинал сокрушаться, что не смог отправить мальчика в Оксфорд.

«Оксфорд выбил бы всю эту чушь у него из головы, – размышлял мистер Тейлор. – Луциан наверняка получил бы стипендию по классическим языкам, как когда-то мой отец, и тогда уж точно смог бы многого добиться в жизни. Но, увы, тут уж ничего не попишешь». Удрученный викарий со вздохом раскуривал трубку и уходил в другую часть сада, подальше от сына.

Но он ошибался в своем диагнозе: книга, которую Луциан недавно начал, лежала нетронутой в ящике стола. Юный литератор целиком посвятил себя своей тайне, а в кармане пальто он прятал новую рукопись, и она находилась при нем и днем и ночью. Во сне он прижимал драгоценные листки к сердцу, когда оставался один, целовал их и поклонялся им так, как поклонялся своей отсутствующей возлюбленной, которую нетленные страницы и призваны были заменить. Луциан исписал эти листки чудесными заклинаниями, песнопениями и молитвами, составившими костяк его новой веры. Он без конца переписывал и исправлял свой влюбленный бред, проводил целые дни в поисках точных слов, свежих и незатертых эпитетов. Обычные слова тут не годились, но не годились и те, какими он мог бы написать, скажем, новую повесть. Слова этой литургии лились неудержимым потоком, они сияли и жгли, они плавились и отливались заново, словно небесное ожерелье в руках Творца. Луциан стремился воспеть каждую часть священного и прекрасного тела своей возлюбленной. Он отдавал ей душу и разум, целовал землю у ее ног, унижая себя и ликуя, словно тамплиер перед изображением Бафомета. Особенно Луциан радовался тому, что в его восторгах не было ничего заурядного и условного. Он ничуть не подражал пылким влюбленным Теннисона, ибо в их любви страсть соединялась с достоинством и представляла собой любовь уважительную – типичную любовь джентльмена и леди. Энни не была леди. Морганы сотни лет пахали землю и, по мнению миссис Диксон, миссис Джервейз и всех прочих, относились к простонародью. Благородные джентльмены Теннисона были скромны и сдержанны в своей любви, а их возлюбленные являлись им в струящихся пышных одеждах, двигались медленно и величаво и в конце концов должны были стать хозяйками в их замках и матерями благородных детей. Эти господа склонялись перед своими возлюбленными, не унижая себя, постоянно помня о своем благородном происхождении и видя в предмете своей любви не только будущую жену, но и достойную спутницу жизни.

Все это не подходило к любви Луциана. Он не раз говорил себе, что не был ни молодым офицером, ни банковским клерком, ни успешно делающим карьеру адвокатом, помолвленным с мисс Диксон или мисс Джервейз. Ему не придется присматривать маленький домик в добропорядочном предместье для устройства семейного гнездышка, выбирать обои и выслушивать подначки друзей относительно пустующей комнаты, которая со временем обязательно превратится в детскую. Жизнерадостная юная особа не повиснет на его руке, когда он отправится на поиски белого гарнитура для гостиной или же ночных ваз «для нашей спальни», причем в последнем случае опытный продавец сделает все возможное, чтобы его клиенты не краснели. Когда Эдит Джервейз соберется замуж, мамочка подберет ей двух хороших слуг («Поначалу нам придется жить совсем скромно!») и сама проверит, чтобы канализация и все прочее в доме было в порядке. Затем подружки Эдит попросят в гости и восторженно переберут «очаровательные вещицы» хозяйки:

- Да у нее всего по две дюжины!
- Этель, посмотри, какие чудные оборочки!
- Право же, эта вышивка прелестна!
- Ах, счастливица Эдит!
- Все белье мадам Лулу специально шила на заказ!
- Какая изысканность!
- Надеюсь, он будет достоин своего счастья!
- Ой! Вы только поглядите на этот изумительный корсет!
- Ах, дорогая, какая же ты счастливая!
- Настоящие кружева валансьен!

А в заключение одна из девиц шепнет кое-что сокровенное на ухо счастливой невесте, и та взвизгнет: «Не смей, Нелли!» Так они будут щебетать над сорочками и прочим нижним бельем, и дела пойдут своим чередом вплоть до самой свадьбы – того знаменательного дня, когда мамочка, положившая столько сил и умения, чтобы загнать подходящего молодого человека под венец, смерит несчастного жениха негодующим взглядом и зарыдает, расставаясь с ненаглядной дочкой:

- Будьте внимательны к ней, Роберт!

Затем быстрый шепот на ухо невесте:

– Не забудь: когда приедете домой, Уимен должен первым делом промыть всю канализацию. Эти слуги так ленивы и нечистоплотны! Не отпускай его бродить по Парижу – с мужчинами никогда не знаешь наперед. Не забыла таблетки?

И наконец громким голосом:

- Прощайте, дорогие, и благослови вас Бог! Прощайте, прощайте!

Куда удивительнее и прекраснее было то, что Луциан доверял страницам своей рукописи. В россыпи слов, обжигавших и светивших раскаленным светом, словно угли, таилась стихийная мощь огня. Были там слова, трепетавшие под руками Луциана, вонзавшиеся ему в пальцы, когда он переносил их на бумагу. Были там плавные и благозвучные слова, словно списанные со старинной литании, слова, изливавшиеся из его души в часы экстаза и восхищения. Луциан надеялся, что почти все, написанное им, окажется в чистейшем смысле слова мистикой: непосвященные могли бы часами читать и перечитывать эти страницы, так и не проникнув в их сокровенный смысл. День и ночь он обдумывал каждую букву, переписал рукопись девять раз, прежде чем осмелился перенести ее в маленькую книжицу, которую сделал сам из куска старого бледно-желтого пергамента. Еще мальчиком, пребывая в поисках бессмысленного и бесплодного знания, Луциан научился выполнять иллюстрации (сам он предпочитал называть их виньетками, поскольку любил не только устаревшие виды мастерства, но и устаревшие слова). Он часами выстраивал ровные столбцы букв и переписывал текст десятки раз, пока в совершенстве не овладел техникой каллиграфии. С прилежанием монаха-писца Луциан

затачивал перья, то чуть заостряя их бритвой, то полностью заменяя острый кончик и подбирая нужную гибкость и прочность, пока не создал для себя стило, дававшее четкую, тонкую и ровную линию. Затем он принялся за цвета – ему хотелось отыскать средство, которое могло бы превратить современную краску в глубокие, матово-черные чернила старинных манускриптов, и, только когда Луциану удалось заполнить нужным ему шрифтом чистую страничку, он занялся чарующим искусством виньеток, прописных букв, эмблем и оформления полей. Особенно Луциану нравилось ломбардское письмо с похожими на готические храмы буквами, и он постарался перенять эти твердые и плавные линии, а уж потом начались виньетки и плетеные орнаменты, заполонившие каждый свободный дюйм страницы. Добрая мисс Дикон называла все это пустой тратой времени, да и мистер Тейлор предпочел бы, чтобы сын раньше выправил свой обычный почерк – скверный и совершенно неразборчивый. Да и кому нужен в наши дни виньеточник? Луциан отправил несколько образчиков своего искусства в одну лондонскую художественную фирму: стихотворение, украшенное причудливыми узорами, и латинский гимн с нотами на темно-красном фоне. Художественная фирма прислала ему вежливый ответ: его работа, несомненно, была вполне профессиональна, но все же не соответствовала их требованиям. К письму прилагался художественно оформленный текст: «Мы посылаем вам образец, который в настоящее время пользуется большим спросом, и, если вы пожелаете сделать что-нибудь в таком духе, мы с радостью примем вашу работу». То был гимн «Господь, призри на мя» – выхолощенный, искусственный шрифт с разноцветными буквами, напоминавшими дома в виде длинных средневековых курительных трубок, построенные в подражание Кентерберийскому собору, но не имевшие никакого отношения к готике. Инициал, само собой, был золотым, «о» – розовое, «с» – черное, «п» – голубое. В довершение всего из инициала нелепым образом свешивалось птичье гнездо, до отказа набитое птенцами, а над гнездом парила белоснежная голубка.

– Какая прелесть, – сказала мисс Дикон. – Я повешу его у себя в спальне. Почему бы тебе не сделать что-нибудь в этом роде, Луциан? Глядишь, заработал бы немного денег.

– Я послал им мои тексты, – объяснил Луциан, – но они их не приняли.

– Еще бы, мой дорогой! Они и не могли их принять. Что это тебе вздумалось изрисовать все поля такими нелепыми цветами? Вот, например, розы. Какие же это розы? И вообще, при чем здесь цветы?

– Рисунок должен соответствовать тексту. Вчитайтесь в слова!

– Дорогой мой, я не могу «вчитываться в слова», потому что ты пишешь ужасно старомодным почерком. Другое дело этот текст – все так ясно и четко написано, что сразу становится понятно, о чем идет речь. А что у тебя здесь? Этого я и вовсе разобрать не могу.

– Это латинский гимн.

– Латинский гимн? Значит, не протестантский? Может быть, на твой взгляд, я и старомодна, но я предпочитаю наши славные гимны. А это, по-твоему, ноты? Дорогой мой, ты же начертил только четыре линеечки! И где это видано, чтобы ноты были квадратными или шестиугольными? Что же ты не заглянул в старый сборник твоей бедной матушки? Он лежит в гостиной, в шкафчике. Если хочешь, я покажу тебе, как рисуют ноты: главное – не забыть четвертые и восьмые доли.

С горестным вздохом мисс Дикон отложила переписанный Луцианом «*Urbs beata*»<sup>2</sup> – она была убеждена, что ее племянник – «полный дурак».

Луциан же спустился в сад и, укрывшись за изгородью, дал волю своему гневу – перевернул пару цветочных горшков и поколотил тростью яблоню. Слегка успокоившись, он спросил себя, был ли какой-либо смысл во всех его трудах. Луциан не хотел себе в этом признаваться, но на самом деле его больно задело, что даже самые близкие ему люди предпочитали

<sup>2</sup> «Прекрасный град» (лат.).

голубков и «ясный текст» геральдическим розам и латинским гимнам. Он так много вложил в эту работу и знал, что сделал ее хорошо. Луциан надеялся на заслуженную похвалу, но в этом мире его никто не ценил – кругом были одни лишь критики. Стороннего наблюдателя корчи и судороги молодого человека под ударами этой «старой дуры», как мысленно обозвал Луциан свою тетку, несомненно, могли позабавить. Так наслаждаются маленькие дети, отрывая своими нежными пальчиками или, скажем, отрезая мамиными ножницами лапки и крылья мухам. Насекомое кружится, дергается, тоненько жужжит, и это доставляет малышам удовольствие самого невинного свойства. Луциан считал себя слишком доверчивым и старался обзавестись такой же нервной системой, как у мух, которые, по словам мамочек подобных малолетних экспериментаторов, «ничего не чувствуют».

Но теперь, иллюстрируя свою пергаментную книжицу, он с радостью припомнил былое, – выходит, пригодилось его умение делать красивые вещи. Луциан снова перечитал свою рукопись и задумался над тем, как лучше оформить ее страницы. Он сделал множество набросков на отдельных листах бумаги, и ему пришлось перерыть всю отцовскую библиотеку в поисках новых образцов. Он извлек на свет запыленные книги по архитектуре и трактаты о средневековых металлических украшениях. Их красочные иллюстрации подсказали ему кое-какие идеи, но этого было мало. Он отправился в поля и леса, разглядывая причудливые стволы, жутковатые переплетения водорослей, извивы жимолости и вьюнка. Во время одной из таких вылазок ему попала красная глина, послужившая основой краски для букв, в другой раз он обнаружил в спорах папоротника пигмент, от которого его чернила стали более матовыми. Рукопись Луциана была полна символов, из символов построил он и орнамент на полях: причудливая листва разрослась вокруг текста, распускались таинственные цветы, а из чащи розовых кустов выглядывали диковинные животные. И все это во имя любви – дань его любовному безумию. Теперь каждую страницу украшали стихи и песнопения, рефрены которых преследовали Луциана во сне и наяву. Когда книга наконец была закончена, он сделал ее своим постоянным спутником, заменив ею так тревожившие старого викария разрозненные листки. Трижды в день Луциан совершал свое таинство, выбирая для этого уединенное место в лесу или закрываясь в комнате наверху: видя, как сосредоточен и полон восторга его взгляд, старый викарий думал, что сын по-прежнему погружен в сомнительный процесс творчества. Луциан научился просыпаться по ночам для свершения таинственного обряда и разработал особый церемониал, который исполнял каждую ночь, поднимаясь в темноте и зажигая свечу. На крутом лесистом холме недалеко от дома он срезал пять кустов буйного можжевельника и, один за другим, тайком перенес их в дом, где спрятал в большом сундуке возле своей кровати. Почти каждую ночь он просыпался в слезах, бормотал слова своих песнопений, зажигал свечу, вынимал из сундука можжевельниковые ветви, расстилал их на полу и, сняв ночную рубашку, укладывался нагим телом на эту постель из шипов и жестких шишек. Придвинув к себе свечу и книгу любви, он тихо и нежно повторял хвалу своей любимой, ненаглядной Энни. Луциан перелистывал страницу за страницей, вглядываясь в золото заглавных букв, пылавшее и плавившееся в огне свечи, и шипы можжевельника с необычайной лаской касались его тела. Он впитывал изысканную сладость физической боли. После двух или трех таких ночей Луциан внес новые поправки в свою книгу, отметив особым знаком на полях пергамента те строки, при чтении которых он должен был теснее прижиматься всем телом к шипам можжевельника, добровольно навлекая на себя желанную муку. Отныне он каждую ночь просыпался в урочный час. Его стальная воля неизменно одолевала самый глубокий сон, и он вставал в радостных слезах, со священным трепетом готовил колючее ложе, вознося своей любимой хвалу и принося ей в жертву собственную боль. Прошептав последнее слово, Луциан поднимался с колючек. Все его тело покрывали капельки крови, и он с гордостью созерцал эти отметины. Порою какой-нибудь шип глубоко впивался в тело и застревал там. Луциан безжалостно выдирает эти шипы, не щадя себя. В иные ночи, когда он слишком сильно прижимался к шипам, кровь текла по

его бедрам, красные язвочки вспухали на ногах и на полу образовывались темные лужицы. Все сложнее было застирывать простыню так, чтобы кровавые следы не привлекли внимания прислуги. В конце концов Луциан решил не возвращаться в постель после исполнения обряда. Он нашел старенький ветхий темный плед и заворачивал в него свое обнаженное истерзанное тело, укладываясь спать на жестком полу и радуясь, что к сладостным мукам добавилась новая боль. Он был весь изрезан рубцами – ранки, поджившие за день, ночью вновь раздирались шипами, бледно-оливковая кожа покрылась кровоподтеками, изящное юное тело превратилось в изнуренное тело мученика. Луциан худел с каждым днем и все чаще отказывался от еды. На лице его стали выпирать скулы, черные глаза глубоко запали. Наконец родные заметили, что он «плохо выглядит».

– Это просто безумие, Луциан! Ты совсем не следишь за собой, – заявила однажды утром мисс Дикон. – Посмотри, как у тебя трясутся руки. Люди подумают, что ты начал пить. Тебе давно пора принимать лекарство, а ты не желаешь никого слушать. Меня ты не можешь ни в чем упрекнуть: я тебе каждый день повторяю – попробуй порошки доктора Желли.

Луциан вспомнил, как в детстве его силой заставляли принимать эти порошки, и порадовался, что те дни давно остались позади. Теперь он мог лишь ухмыльнуться, глядя в глаза своей озабоченной родственнице, и проглотить чашку крепкого чая в надежде успокоить расхолодившиеся нервы. Однажды в Каэрмаене он встретил миссис Диксон. День был жаркий, а Луциан шел слишком быстро. Рубцы на его теле горели и пульсировали. Остановившись, чтобы поклониться, Луциан покачнулся. Миссис Диксон немедленно сделала вывод, что он «напился где-нибудь в кабаке».

– Просто милость Божия, что бедняжка Тейлор не дожила до этого дня, – заметила она вечером своему супругу. – Я видела сегодня на улице ее злосчастного юнца: он был совершенно пьян.

– Какая жалость, – откликнулся мистер Диксон. – Немного портвейна, дорогая?

– Нет, Меривейл, я лучше выпью еще стакан шерри. Доктор Барроу опять бранил меня: я должна непременно принимать что-нибудь укрепляющее, а наше шерри совсем легкое.

Диксоны не были трезвенниками, о чем глубоко сожалели, но врач постоянно предписывал им «что-нибудь укрепляющее». Однако они утешались, проповедуя в своем приходе полное воздержание, называя это «умеренностью». стакан пива, выпитый за ужином бедной старухой, почитался за смертный грех. Своих работников Диксоны заставляли пить «умеренный» безалкогольный напиток, а на воскресных собраниях гостям предлагали мерзкую жидкость, выдаваемую за кофе. Вскоре после описанных выше событий мистер Диксон прочел специальную проповедь об умеренности, выбрав в качестве основы то место из Писания, где говорилось о «закваске фарисейской». Со всей убедительностью он доказал, что между дрожжевыми напитками и закваской есть немалое сходство, затем напомнил, что следующие закону иудеи не притрагиваются к пиву, и в заключение взволновал души своих прихожан трогательным призывом «ко всем братьям и особенно к тем, кто не богат земными благами» избегать греховной закваски, которая угрожает погубить цвет нашей нации. После службы миссис Диксон восклицала: «Ах, Меривейл, это была замечательная проповедь! Как трогательно! Надеюсь, она принесет добрые плоды».

Мистер Диксон вполне довольствовался портвейном, но его жена каждый день накачивалась дешевым шерри. Она не замечала, как пьянела, и только удивлялась, почему после ужина ей так трудно справляться с детьми. И какие странные вещи происходили порою в детской! Нередко после того, как мать, раскрасневшись и тяжело дыша, выходила из комнаты, дети недоуменно переглядывались.

Ничего этого Луциан не знал, но о собственном пьянстве ему вскоре довелось услышать. В следующий раз, когда он забрел в Каэрмаен, его окликнул доктор:

– Эй, Луциан, вы сегодня уже пили?

– Нет, – ответил он с недоумением. – Почему вы меня об этом спрашиваете?

– Ну, раз вы еще не пили, зайдите ко мне, и мы пропустим по стаканчику.

За стаканом виски Луциан раскурил трубку и выслушал свежие местные сплетни.

– Миссис Диксон уверяла меня, что вас заносило с одной стороны улицы на другую. Она говорила, что вы изрядно напугали ее. Затем она спросила меня, следует ли ей перед сном принимать одну унцию спиртного или все-таки лучше остановиться на двух – от сердцебиения, знаете ли, – и я, конечно же, порекомендовал ей две унции. Я здесь живу, и мне надо как-то зарабатывать на жизнь, а миссис Диксон ждала от меня именно такого совета. У нее и так булькает внутри, словно там насосная станция. Как только старина Диксон терпит все это!

– Мне нравится выражение «унция спиртного», – отозвался Луциан. – Это, видимо, означает, что спиртное принимается «по медицинским показаниям». Кстати, мне часто доводилось слышать о пожилых леди, которые вынуждены принимать спиртное «по медицинским показаниям».

– Вот именно. «Доктор Барроу не желает ничего слушать – я ему столько раз говорила, что ненавижу даже запах спиртного, но он утверждает, что это совершенно необходимо для поддержания моих сил» или «Мой врач настаивает, чтобы я принимала перед сном что-нибудь укрепляющее» – так они все говорят.

Луциан усмехнулся. Все эти люди были ему теперь безразличны, и он уже не вспыхивал неистовой яростью при виде их мелких хитростей, злобы и лицемерия. Их сплетни, ложь, алчность и лицемерные назидания значили для него не больше, чем тонкий комариный писк августовским вечером. Он лелеял теперь свои мечты, свою жизнь, и до всех этих людей ему больше не было дела.

– Вы часто заглядываете в Каэрмаен в последнее время, – заметил врач. – Я видел вас здесь два или три раза за десять дней.

– Да, – согласился Луциан, – мне нравится эта дорога.

– Заходите ко мне почаще. Я обычно бываю дома в это время, и разговор с нормальным человеком пойдет мне на пользу, а то я того и гляди озверею с моими «клиническими клиентами».

Доктор Барроу обожал тяжеловесные каламбуры, пересыпая ими свои монологи. Несколько раз он использовал каламбуры в разговорах с миссис Джервейз, которая неизменно кротко улыбалась ему и с достоинством отвечала: «Да-да, это, конечно, весьма забавно. Помню, у нас был старый кучер, которому удавались такие шуточки. В конце концов мистеру Джервейзу пришлось его уволить – слишком уж громко прислуга хохотала над его словечками».

Луциан рассмеялся от всей души. Доктор Барроу был ему приятен – нормальный человек, а не автомат для зарабатывания денег.

– Вы плоховато выглядите, – заметил Барроу, когда Луциан собрался уходить. – Нет, никаких лекарств! Побольше мяса и эля, вот что вам нужно. Наверное, во всем виновата жара. Через месяц вы вполне поправитесь.

Покидая город, Луциан наткнулся на группку мальчишек, столпившихся в уголке городского сада. Они нашли себе замечательную забаву – тот самый «здоровый английский мальчик», которому Луциан месяц назад помешал экспериментировать над кошкой, решил, видимо, отказаться от эгоистической привычки развлекаться в одиночку. На этот раз он подобрал на улице заблудившегося щенка, крохотное существо с ясными умильными глазками и почти человеческим ласковым взглядом. Обычная дворняжка, не имеющая ничего общего со знаменитым отпрыском «самой Веспы от самого Вика»: шерстка у него была жесткая, а глупый длинный хвост не переставал подметать пыль в надежде смягчить мальчишек и выпросить у них ласку. Бедняжка, видимо, привык к ласке – он заглядывал мальчишкам в глаза, подпрыгивал, поднимался на задние лапы, тихо и неуверенно тявкал, а потом снова опускался на землю, растерянный и испуганный их отчужденностью, шумом, неестественным возбуждением. Маль-

чишки были дико взбудоражены, их взвинченные голоса перебивали друг друга, выкрикивая всяческие заманчивые предложения касательно судьбы щенка. Все эти планы предлагались на рассмотрение жожаку, здоровому крепкому парню.

– Утопить! О чем вы только думаете, сосунки? – ворчал тот. – Какой в этом интерес? А ну, заткни пасть! Может, ты у своей мамочки попросишь кипятку, а, Бобби Уильямс? Нам ведь негде достать огня. Кому сказано, сосунки, помалкивайте! Чья это собака, Томас Тревор, твоя или моя? Вот и попридержи язык, не то я заберу псину домой, и там она и останется! Так-то вот!

Этот парень родился главарем. На лицах остальных проступил близкий к отчаянию страх. «Сосунки» знали, что их жожек вполне может исполнить свою угрозу, и теперь обычно наглые физиономии мальчишек не выражали ничего, кроме робкого послушания и готовности угождать. Щенок все еще крутился под ногами, и двое мальчишек попытались разрядить возникшее напряжение, пнув дворнягу в живот подбитыми гвоздями башмаками. Песик скорчился и взвизгнул от боли, но даже не попытался огрызнуться или укусить. Он по-прежнему преданно и умоляюще заглядывал в глаза своим мучителям, вилял хвостом и даже попытался затеять игру с валявшейся на дороге палочкой в надежде все же завоевать расположение к себе.

Жожек понял, что настало время для завершающего удара. Из кармана брюк он медленно извлек обрывок веревки:

– Ну, что вы на это скажете, а?! Смотри внимательно, Том Тревор! Мы повесим его – вон на том дереве. Доволен ты наконец, Бобби Уильямс?

Мальчишки восторженно завопили. Жизнь и потребность действовать вновь вернулись к ним.

– Можно я надену ему на шею веревку?

– А ну, пошел прочь, сосунок, ты не сумеешь!

– Нет, Чарли, сумею!

– Дайте мне, ребята, кому сказано, дайте мне!

– А вдруг укусит?

– Слушай, может, он бешеный?

– Давайте сперва завяжем ему пасть, пасть завяжем!

Щенок по-прежнему играл, выпрашивал ласку, вилял своим жалким хвостиком, временами укладывался на все еще болевший бок – несчастный малыш был теперь печален и подавлен, но искорка надежды все еще теплилась в его сердце, и он вновь принимался играть, то и дело вскидывая мордочку и обращая к мальчишкам вопросительный взгляд своих ласковых темных глазок. Наконец его жалкие потуги выслужить милость иссякли – он сел, запрокинул голову и испуганно, протяжно завыл. Тут старший из мальчишек накинул ему на шею веревку, и щенок принялся лизать руку, которая затягивала петлю. Медленно и аккуратно щенка вздернули кверху. Малыш забился, его лапки задергались в поисках опоры. «Здоровый английский мальчик» натянул веревку, а его приятели приплясывали рядом, вопя от счастья. Сворачивая за угол, Луциан обернулся: бедное скорченное тельце раскачивалось взад-вперед. Щенок умирал, но лапки его еще содрогались.

Луциан поспешно продолжил путь, передернувшись от отвращения. Человеческие детеныши были совершенно омерзительны. Эти мальчишки отравляли землю и оскверняли самое бытие, как непристойно разросшаяся губка ядовитых грибов отравляет приятную прогулку. Эти злобные маленькие твари, с устами, созданными для непотребства и брани, с руками, пригодными лишь на то, чтобы мучить других, и с ногами, всегда готовыми нанести удар, одним махом разрушили мир мечты, в котором старался жить Луциан. Нет, на них не стоит сердиться: такова их природа. Если бы только они предавались своим мерзостям где-нибудь у себя во дворе, никому не попадаясь на глаза! В самом деле, почему его мирная прогулка должна быть осквернена подобным зрелищем? Луциан постарался забыть о том, чему стал свидетелем,

словно то была неприятная выдумка из какой-нибудь книги, попытался вновь погрузиться в мир видений, и они принялись уже роиться вокруг него, как вдруг столь желанное забвение было потревожено самым грубым образом. Впереди на тропинку выбежала прелестная девочка лет семи или восьми. Она отчаянно плакала, растерянно озираясь по сторонам и выкрикивая между рыданиями одно и то же имя:

– Джек, Джек, Джек! Джекки, маленький, Джекки! Джек!

Девочка снова разрыдалась, заглянула в просвет между прутьями изгороди, а затем бросилась к калитке и привстала на цыпочки, пытаясь поверх нее разглядеть соседнее поле:

– Джекки, Джекки, Джекки!

Всхлипывая так, словно у нее разрывалось сердце, она подошла к Луциану и присела в старомодном реверансе:

– Простите, сэр, но, может быть, вы видели моего маленького Джека?

– О чем ты? – спросил Луциан. – Кого ты ищешь?

– Простите, сэр, я ищу маленькую собачку с белой шерсткой. Папа подарил мне ее месяц назад и сказал, что теперь она моя. А сегодня кто-то оставил калитку открытой, и щенок убежал. Я так люблю Джека, сэр, он такой игривый и ласковый, а теперь он, наверное, потерялся.

Девочка продолжала плакать, почти не надеясь получить ответ:

– Джек, Джек, Джек!

– Боюсь, что твоего щенка поймали мальчишки, – сказал Луциан. – Они убили его. Тебе лучше пойти домой.

Он повернулся и зашагал прочь, спеша оградить себя от детского плача. Горе девочки растревожило Луциана, а он хотел вернуться к своим мыслям. Луциан раздраженно топнул ногой, вспомнив происшедшее, и пожелал очутиться в келье отшельника в горах – вдали от шума и вонючего человеческого сообщества.

Вскоре он вышел к Кросвену, где дорога разветвлялась. На перекрестке остался треугольник травы: там некогда стоял крест, «прославленное и поистине прекрасное распятие», как говорилось в старинной хронике города. Луциан шел по правой дороге, и слова летописи всплывали в его памяти: «Пять ступеней поднималось к первой площадке, семь вело ко второй, и были они из гладкого тесаного камня. И каждая была искусно отделана изумительными украшениями, а на самом вершине стояло святое распятие с Христом на кресте, и по обе его стороны – Дева Мария и Иоанн, которых поддерживали шесть славных сияющих архангелов, ступенью ниже – благородные и прекрасные изображения двенадцати апостолов и других святых и мучеников. А в самом низу – сделанные с изумительным искусством изображения различных животных: волов, лошадей, свиней, собак и даже павлинов, все самой отличной и сложной работы, так что казалось, будто они запутались в Чащобе Шипов, каковая и есть их удел в земной жизни. Раз в году здесь служили прекрасную праздничную мессу: настоятель Каэрмаена выходил из города вместе с певчими и всем людом, распевая псалом „Benedicite omnia ore“<sup>3</sup>, и так они шли по дороге в торжественной процессии. Затем, остановившись у самого распятия, священник служил мессу, вставляя в нее особые молитвы за животных, а в конце ее, поднявшись на первую ступень креста, он произносил проповедь перед людьми, напоминая им, что Господь наш Иисус умер на древе из милости к нам и потому мы тоже должны оказывать милость животным и всей Его твари, ибо и звери суть Его бедные данники и слабые слуги. И как святые ангелы служат Ему в вышних, как двенадцать благословенных апостолов с блаженными мучениками и святыми служили Ему в свое время на земле, а теперь возносят Ему хвалу на небесах, так и твари служат Ему, хотя они и находятся в темнице жизни сей и стоят ниже людей, ибо их дух склонен к бездне, как учит нас Святое Писание».

---

<sup>3</sup> «Благословен всякий труд» (лат.).



Так гласила эта странная старинная запись, причудливое напоминание о том, что нынешние обитатели Каэрмаена именовали «темными веками». От распятия уцелело лишь несколько черных камней, поседевших от старости, покрытых бурым лишайником и зеленым мхом. Прочие части некогда славного распятия пошли на починку дорог, свиного хлева и домашнего очага – на смену католикам пришли практичные протестанты. Да если бы крест и стоял на прежнем месте, нынешний настоятель Каэрмаена не стал бы служить здесь праздничную службу: чаепития, португальская миссия, миссия по обращению иудеев и прочие общественные обязанности не оставляли ему ни одной свободной минуты. К тому же весь этот обряд был совершенно недопустим по духу Писания и церкви.

Луциан продолжал путь, дивясь поразительным контрастам Средневековья. Как могли люди, создавшие столь прекрасное произведение искусства, как месса, всерьез верить в колдовство, одержимость бесами, в инкубов и суккубов, шабаш ведьм и прочие чудовищные нелепости? Казалось невероятным, чтобы даже последний глупец мог принять на веру все эти уродливые рассказы, но ведь страх перед летавшими на помеле и обращавшимися в черных кошек старухами был некогда подлинным и пронзительным.

День близился к закату, от реки поднимался холодный ветер, шрамы на теле Луциана горели и пульсировали. Боль напомнила Луциану о его собственном прекрасном обряде, и он начал на ходу твердить слова своей литургии. Он отломил от изгороди ветку терновника и изо всех сил прижал ее к груди, вдавливая шипы в кожу и плоть, пока теплая кровь не заструилась по его телу. Это было прекрасным и изысканным обрядом в честь возлюбленной, и Луциан подумал о тайном замке из золота, который построит для нее, о чудесном и изумительном граде, созданном его воображением. Тихая торжественная ночь опустилась на землю, последний луч солнца померк на холмах, и Луциан вновь отдал женщине всего себя – свое тело и свою душу, все, что у него было, и все, чем был он.

## Глава 4

Через неделю Луциан снова посетил Каэрмаен. Он хотел внимательнее осмотреть амфитеатр, запомнить расположение старинных стен и оглядеть долину с высоты, чтобы яснее и во всех подробностях запечатлеть в памяти очертания окрестных холмов и покрытых темным ковром лесов. Теперь он проводил много времени в местном музее, где были собраны следы пребывания римлян в этих краях: его внимание привлекали осколки мозаичного пола, темно-золотые пиршественные чаши, причудливые формы первых в мире стеклянных стаканов, резные поделки из янтаря, флаконы для духов, хранившие память о густых пахучих притираниях, ожерелья, брошки, серебряные и золотые закладки для волос и прочие предметы туалета, принадлежавшие некогда римским матронам. Один из стеклянных флаконов, больше тысячи лет пролежавший в земле, сохранил в темной могиле все свое сияние и теперь переливался, словно опал, то призрачным отблеском луны, то бледным золотом в закатных лучах, то царственным пурпуром. Были здесь и большие глиняные кувшины для вина, и надгробные камни, и головы разбитых идолов, и совсем уж загадочные предметы, использовавшиеся некогда в таинственных ритуалах митраизма. Луциан внимательно изучал таблички, сообщавшие, где найдена та или иная вещь, и, если это было возможно, отправлялся туда. Он побывал на церковном дворе, на покрытой дерном лужайке и на старом кладбище у кромки леса. Он хотел прямо на месте чудесного открытия представить многовековую тьму, скрывавшую золото, мрамор или янтарь. Все это было ему необходимо для новой книги, и Луциан на какое-то время стал постоянным гостем пустынных и пыльных улиц Каэрмаена. Его частые визиты превратились в тревожную загадку для большинства обитателей города, которые сбегались к окнам, едва слышав его торопливые шаги на неровных булыжниках мостовой. Все их догадки были тщетны – горожане не сомневались, что лишь дурные побуждения могут гнать юношу в Каэрмаен по три раза в неделю, но в чем именно дело – они никак не могли понять. Сам Луциан был немало удивлен необычайно частыми «случайными» встречами с различными представителями кланов Джервейзов, Диксонов и Колли – каждый раз ему приходилось останавливаться, снимать шляпу и произносить пару пустых фраз. Эти краткие встречи раздражали и тревожили Луциана. Его уже не приводили в ярость и даже не задевали ухмылки, открытое пренебрежение или хихикающее перешептывание у него за спиной («Боже, какая шляпа! Как он одет!»), но все же эти встречи были неприятны. Они преследовали Луциана, словно запах затхлого колодца, нарушали привычное течение мыслей, и ему не сразу удавалось вернуться в свой мир. А потом эта кошмарная сцена с мальчишками и щенком! Омерзительное воспоминание о ней постоянно вторгалось в его грезы. К тому времени Луциан прочел изрядное количество книг по современному оккультизму и запомнил кое-что из описанного в этих книгах. Посвященный, утверждалось в них, может без труда сосредоточить свое сознание где-нибудь в руке или ноге, может уничтожить окружающий его мир и перейти в высшие сферы. Луциан попытался обратить этот опыт себе на пользу. Человеческие особи постоянно раздражали его и болтались у него под ногами. Так неужели он не сможет истребить их или хотя бы превратить во что-нибудь безвредное и незаметное? Вскоре Луциан сумел выработать соответствующий метод, требовавший как физических, так и духовных усилий. После двух-трех экспериментов он, к своему удивлению и радости, добился успеха. Луциан открыл один из секретов подлинной магии, один из ключей к символическим перевоплощениям восточных сказок. Посвященный и в самом деле мог превратить своих врагов в безвредные, почти неприметные тени, но только изменив не внешний облик этих людей, как бывало в старых сказках, а свой собственный внутренний мир. Волшебник мог попирать людей ногами, поскольку сам возносился в высшие сферы, – так, взойдя на гору, мы можем с презрением окинуть взглядом город, лежащий где-то далеко внизу, на склоне холма. Камешки на дороге и прочие мелкие препятствия не помешают мудрецу на его пути –

и теперь, вынужденный останавливаться и заговаривать со своими сородичами, а попутно еще и выслушивать их нелепую болтовню и жалкие претензии, Луциан напрягался не больше, чем взбираясь к вершине по крутому склону. Что же касается более отвратительных человеческих проявлений, то это его, в конце концов, никак не затрагивало. Сосредоточившись на поистине великой задаче, человек не замечает гудения мухи, застрявшей в паутине, так почему же его, Луциана, должна преследовать сцена гибели щенка от рук деревенских оболтусов? Конечно, муха погибает ужасной смертью, барахтаясь в липких нитях опутавшей ее паутины, несчастное насекомое пищит во всю мощь своего тоненького голоса, когда мерзкое чудище вонзает когти в его тельце, но и что с того? Где это видано, чтобы страдания умирающего насекомого могли нарушить сосредоточенный покой влюбленного? Почему жестокие мальчишки должны оскорблять чувства больше, чем скопище пауков? Почему он, Луциан, должен сочувствовать щенку больше, нежели мухе? Разговоры людей – как мужчин, так и женщин – утомительны, тщеславны и исполнены злобы. Но разве алхимик, стоящий на пороге великого открытия, или полководец в час победы, или, на худой конец, финансист, задумавший колоссальное надувательство, станут отвлекаться на жужжание жалких насекомых? Однажды Луциану довелось рассматривать паука под микроскопом, – действительно, это был отвратительный хищник с жестокой пастью и волосатыми, словно у тигра, когтистыми лапами. Что ж, значит, не надо пользоваться микроскопом. Теперь Луциан мог бродить по улицам Каэрмаена спокойно и уверенно, не боясь, что ему помешают, поскольку в любую минуту умел преобразиться внутренне. Как-то раз его поймал доктор Барроу и уговорил участвовать в ярмарке-распродаже в пользу венгерских протестантов. Луциан согласился – он надеялся быстро отделаться от этой ерунды, а затем собирался отправиться на ближайший к городу холм, чтобы посмотреть давно занимавшие его пещеры. Как раз в эти дни лорд Бимис гостил у местного магната сэра Вивиана Понсонби и был так добр, что взял на себя труд приехать в город, дабы лично открыть ярмарку. Наконец наступил торжественный момент: подъехала коляска и из нее вышел великий человек. У пожилого пэра было лицо мерзавца, но духовенство и дворянство с женами, дочерьми и сыновьями приветствовали его громкими криками радости. Все разговоры прервались на полуслове, и кое-кто замер с открытым ртом, дивясь, куда подевались его собеседники. Мейрики уже мчались вперед, задыхаясь и обливаясь потом, мисс Колли, пожелтевшая дева со злобным взглядом, ухитрилась растянуть губы в улыбке, миссис Диксон подавала зонтиком яростные сигналы «девочкам», задержавшимся на краю лужайки, архидиакон резво возглавлял процессию. Поклоны, поклоны, поклоны. В воздухе разливался восторженный хохот архидиакона, слышались громкое хихиканье девиц и пронзительные попугайчи голоса маменек. Улыбались даже те, кто отроду не улыбался, а на лицах престарелых девиц появилось выражение застенчивого и восторженного обожания, свойственное ангелам с рождественских открыток. После окончания церемонии все общество совершило поворот на девяносто градусов и двинулось к границам своей маленькой ярмарки тщеславия. Лорд Бимис возглавлял шествие, ведя под руку миссис Джервейз, далее следовала миссис Диксон об руку с сэром Вивианом Понсонби, а за ними валила вся остальная светская чернь, поминутно восклицая:

- Ах, какой прелестный старик!
- Как мило с его стороны, ведь это столько хлопот!
- Какое у него доброе выражение лица!
- Просто душечка!
- Доброе старое дворянство!
- Подлинный британский аристократ!
- И строгих правил к тому же. Если кто из служанок попадет в беду, тут же рассчитает!
- Опора церкви!
- Он распоряжается местами в двадцати приходах!
- Он голосовал за Закон об ограничении публично отправляемых обрядов!

– Десять тысяч акров – и ни пенни долгу!

Старый аристократ сально ухмылялся, бормоча себе под нос что-то типа: «Ага, тут есть хорошенькие девчонки. Та рыбонька в розовой шляпке совсем не плоха. Надо к ней присмотреться. Пожалуй, она даст фору самой Лотте».

Процессия медленно продвигалась вперед, сминая траву. Архидиакон ухватил за рукав мистера Диксона, и «подлинные британские аристократы» углубились в разговор о прегрешениях какого-то деревенского пастыря.

– Я едва могу в это поверить, – сказал мистер Диксон.

– Уверяю вас, тут не может быть никаких сомнений. Множество свидетелей. Он устроил процессию в Лланфианделе в воскресенье перед Пасхой и сам вместе с певчими обошел вокруг церкви, держа в руках ветку вербы.

– Какое неприличие!

– Епископ был так огорчен! Конечно, Мартин много работает, и все такое прочее, но это уж слишком. Сколько раз епископ говорил мне, что решительно выступает против процессий.

– Епископ прав, совершенно прав. Процессии противоречат духу Писания.

– Сами знаете, Диксон, – стоит только начать.

– Совершенно верно: я стараюсь не допускать ничего подобного в моем приходе.

– Вот именно. Такие вещи надо душить в зародыше. Мартин так непочтителен. Надо все-таки соблюдать приличия.

Процессия, соответствующая «духу Писания» и возглавляемая лордом Бимисом, тем временем достигла киосков и павильонов, и лорд Бимис объявил ярмарку открытой. Луциан сидел чуть поодаль на садовой скамейке, закрыв глаза и думая о своем. Он видел только мух – целый рой жирных мух, гудевших и хлопотавших над куском гнилого мяса, валявшегося на траве. Это зрелище никак не могло потревожить гармонию его снов, а сразу же после открытия ярмарки он поднялся и потихоньку побрел прочь, через поля, к пещерам, которые хотел изучить в тот день.

Обитатели Каэрмаена немало удивились бы, узнав подлинную цель его прогулок по городу и окрестным холмам: Луциан понемногу, но неуклонно стирал с лица земли современные прямоугольные жилища, отстраивая полный блеска и славы град силуров, предназначенный для усадьбы возлюбленной и его самого, мистический город с роскошными виллами, тенистыми садами, колдовским ритмом мозаичных полов, плотными дорогами шторами, испещренными таинственным узором. Целыми днями Луциан бродил по залитым солнцем улицам, порой находя убежище под сенью густых сумрачных вязов какого-нибудь сада, где он мог часами сидеть, прислушиваясь к ропоту и рокоту фонтана. Порою, выглянув из бойницы, он видел суету и пестрое мельтешение рынка или наблюдал, как входит в гавань корабль с тончайшим шелком и иными товарами неведомых стран на борту. Луциан нарисовал карту – причудливый и подробный план города, в котором собирался жить, где указал расположение и название каждой виллы. Он выравнивал линии своего плана с придирчивостью добросовестного землемера и в конце концов изучил его так, что мог бы свободно ориентироваться в своем городе даже в темную летнюю ночь. Луциан бродил по южному склону холма, где возле городской стены под неизменно теплым солнцем наливался соком виноград, а порою отваживался дойти до первых деревьев дикого леса, посреди которого все еще таились исконные древние жители этих мест. Там он вдыхал в себя золотое марево города – дрожащий и дробящийся на гладких каменных плитах свет. Перед воротами города раскинулись сады, и странные, чарующие цветы пьянили раскаленный воздух своим ароматом, пропитывали причудливыми запахами легкий ветерок, струившийся по улицам. Скудная современная жизнь отошла прочь от Луциана, и встречавшиеся ему в эти минуты люди замечали, что он был «малость не в себе»: самого невнимательного наблюдателя удивлял его рассеянный и вместе с тем пристальный взгляд. Но ни женщины, ни мужчины не могли больше задеть или отвлечь Луциана. Течение

его мыслей не прерывалось ни на миг. Он выслушивал мистера Диксона с нарочитой сосредоточенностью, а в душе его звучала завораживающая мелодия сдвоенной флейты, и прекрасная девушка танцевала в садах Авалона – такое имя он выбрал себе. Мистер Диксон пожелал похвастаться перед ним своим знанием археологии и упомянул в разговоре о соображениях почтенного мистера Уиндема, изложенных на последнем заседании общества любителей древностей.

– Не может быть никакого сомнения в том, что именно здесь стоял храм Дианы во времена язычества, – заключил он.

Луциан выразил свое согласие и даже задал пару вопросов, вполне относившихся к делу. Но сдвоенная флейта все это время ласкала его слух, и раскидистый вяз отбрасывал густую пурпурную тень на мощенную белым камнем дорожку возле его виллы. Вот из сада вышел мальчик и зашагал вдоль рядов винограда, обрывая спелые гроздья, – виноградный сок струился по его обнаженной груди. Мальчик остановился возле девушки и открыто, не стыдясь солнечного света, запел любовную песню Сапфо. Голос его был глубок и богат, словно голос женщины, но при этом абсолютно лишен выражения – безупречный музыкальный инструмент, и только. Луциан пристально разглядывал мальчика, чье совершенное тело блестело на фоне темных роз и небесной синевы, словно яркий и сочный мрамор в сиянии солнечных лучей. Слова его песни обжигали пламенем страсти, но сам мальчик был равнодушен к их смыслу точно так же, как флейта – к мелодии. Девушка улыбнулась. Викарий пожал Луциану руку и пошел по своим делам, вполне удовлетворенный как собственными познаниями относительно храма Дианы, так и вежливым вниманием юноши.

– Нельзя сказать, что Луциан полный тупица, – сообщил мистер Диксон позднее своему семейству. – Он совершенно неотесан, но, пожалуй, вовсе не глуп.

– Ах, папа, ну разве он не дурачок? – откликнулась Генриетта. – Он же не может ни о чем разговаривать. То есть, я имею в виду, о чем-нибудь интересном. Говорят, будто бы он только и делает, что читает, но я своими ушами слышала, как он сказал, что ни разу в жизни не читал «Князя из дома Давидова» и «Бен-Гура». Это же подумать только!

Викарий не мешал сыну. Солнце по-прежнему дарило розам свой свет, и легкий ветерок доносил до ноздрей Луциана их аромат, смешанный с запахом виноградных гроздьев и листвы. Луциан стал прихотлив и разборчив в своих ощущениях. Откинувшись на подушки, обтянутые блестящим золотистым шелком, он пытался распознать странный «привкус» в доносившихся до него запахах. Примитивные суждения того времени, сводившиеся к фразам вроде: «Пахнет розами» или «Здесь где-то поблизости растет шиповник», – остались далеко в прошлом. Он знал, что современное восприятие запахов ни в какое сравнение не идет с изощренностью дикарей и примитивных народов. Отсталые аборигены Австралии различали запахи с такой тонкостью и точностью, что колонизаторы только рты раскрывали в изумлении, но, с другой стороны, чувства дикаря были всецело подчинены соображениям пользы. Луциан же, расположившись в прохладном портике и касаясь стопами гладкого мрамора, мог вжиться в запахи и различить в воздухе переплетения и контрасты тончайших оттенков и ароматов, складывающихся в гармоничную симфонию. Пятнистый мрамор тротуара хранил воспоминание о прохладных горах Италии; кроваво-красные розы, изнемогая от жары, наполняли воздух ароматом, таинственным и мощным, как сама любовь; густые испарения виноградника кружили голову. Охватившее девушку желание и невинность не созревшего еще отрока тоже казались Луциану отчетливо различимыми ароматами, изысканными и сладостными запахами мирры и бальзама, таявшими в воздухе так же легко и свободно, как благоухание роз. И все же какая-то странная примесь тревожила его обоняние, напоминая о терпких запахах леса. Наконец Луциан понял – этот запах шел от огромных рыжих сосен, росших за пределами сада. Их иглы разогрелись на солнце и дарили трудноуловимый летучий запах смолы, напоминающий фимиам, воскуряемый в отдаленном храме. Нежные заклинания флейты сливались с влажной

и властной силой отроческого голоса, и Луциан задумался над тем, существует ли на самом деле различие между ощущениями слуха, зрения и обоняния. Глубокая синева неба, звуки песни, запахи сада – все это было лишь разными проявлениями одной-единственной тайны, а не самостоятельными сущностями. Он готов был поверить, что незрелость отрока и в самом деле является ароматом или что аромат дрожащих розовых лепестков превращается в благозвучное пение.

Песня смолкла, наступила томительная тишина. Мальчик и девочка прошли мимо, растворившись в густой пурпурной тени вяза, и Луциан снова погрузился в свои грезы. Мысль о том, что все ощущения суть лишь символы, а не реальность, всецело завладела им, и он принялся ломать голову над тем, как научиться превращать одно ощущение в другое. Быть может, людьми еще не был открыт целый материк, быть может, мы растрачиваем свои силы в поисках неважных или ненужных вещей. Современный гений занят всякими пустяками, вроде паровозов и телеграфа, – всеми этими приспособлениями, которые помогают людям общаться друг с другом. Но как бездарно такое общение! Хотя именно древние впервые впали в эту ошибку, приняв символы за реальность, которую они символизировали. А ведь важен не сам пир, но его идея – наесться до тошноты, принимать рвотное, а потом снова наесться, что так же глупо, как и говорить по телефону. Некоторые другие способы наслаждаться жизнью стоили в древности не дороже очередного узора для набивного ситца.

– Только в садах Авалона, – пробормотал Луциан, – царит подлинная наука наслаждений.

Он представил себе человека, способного жить одним лишь ощущением, человека, для которого любое прикосновение, звук, краска или вкус тут же превращаются в запах: целуя желанные уста, сей избранник слышит благоухание темной фиалки, а музыку воспринимает как утреннее дыхание роз.

Порой Луциан намеренно обращался к повседневной жизни – тем большим было наслаждение, которое он испытывал, вновь возвращаясь в свое убежище, в свой город и сад. В «нормальном мире» говорили о нонконформистах, об арендной плате и курсе акций, читали газеты, пили австралийское «бургундское» и предавались иным нелепым затеям. Заговорите с этими людьми о наслаждении, и они либо будут шокированы, либо решат, что вы имеете в виду оперетку, дешевое виски и бессонные ночи в дурной компании. К своему изумлению, Луциан обнаружил, что распутники гораздо скучнее праведников. Но самыми тошнотворными были все-таки те, кто проповедовал свободную любовь и называл свое свинство «новой моралью». Луциан спасался от них бегством и с облегчением возвращался в свой город, созданный для истинной любви. Подобно тому как, не ведая сомнений, метафизики утверждали, что осознанное бытие «я» определяет любое сознание, Луциан был уверен, что только в своей идеальной женщине он обретает себя: в ней и во имя ее творится на земле подлинная жизнь. Он знал, что Энни научила его колдовству, пробудившему к жизни сады Авалона. Ради нее отыскивал он чудесные тайны и проникал в самую суть человеческих ощущений. Да и что мог принести Луциан в дар своей возлюбленной, кроме чудесных грез, тайной, вымышленной жизни и истерзанного тела, покрытого шрамами добровольных жертвоприношений?

Луциан хотел стать жертвой, достойной объекта поклонения, – только ради этого он непрерывно искал все новых знаний и ощущений. Он вызывал духов любовников прошлого и заставлял их исповедоваться, проникал в глубинные тайны стыдливости, невинности и страсти, наблюдал, как любовь и стыд сражаются друг с другом. Порой Луциану доводилось присутствовать на представлениях в античном театре – перед ним разворачивались сцены из «Дафниса и Хлои» и «Золотого осла». Спектакль неизменно начинался ночью. Рабы с факелами в руках кольцом окружали сцену. Окутанные тьмой ряды зрительного зала амфитеатром уходили вверх. Бросив взгляд на запад – на темную синеву летнего неба, на скрытую туманом вершину холма, которая скорее напоминала огромную тучу, Луциан поворачивался к сцене: она была освещена неровным пламенем факелов и окружена глубокими лиловыми тенями. Тихий

шелест слов, оброненных на непонятном Луциану языке, пробегал от одного ряда скамей к другому, кто-то быстро перешептывался, комментируя происходящее на сцене, а когда напряжение достигало предела, из тьмы зрительного зала вырывался единый вздох. Ближе к концу представления среди публики начиналось беспокойное движение: то кто-нибудь поднимется поправить плащ, то факел дрогнет в ослабевшей руке слуги, и его мимолетная вспышка высветит пурпур, золото и белизну одежд. Все эти впечатления вновь и вновь влекли Луциана. Где-то далеко-далеко тихо мерцали звезды, вокруг разливались сладостные запахи скошенного сена, а над затихшим городом перемигивались огни фонарей, раздавались редкие оклики часовых на стенах, шелестел прибой и царил солоноватый запах моря. В этих причудливых декорациях Луциан видел новую постановку «Золотого осла», слышал имена Фотиды, Биррены, Луция, вникал в истинное звучание таких фраз, как: «*Ecce Veneris hortator et armiger Liber advenit ultro*»<sup>4</sup>. Чудесная сказка развернула перед ним цепь знаменитых приключений, но, прежде чем кончился спектакль, Луциан вышел и направился вдоль реки, вслушиваясь в неясный говор и латинское пение, смешанное с шорохом тростника и влажным пришепыванием прибоа. Наконец солист затянул последнюю ноту, раздался грохот аплодисментов, прощальный звон цимбал, финальный призыв флейт – и вот уже только ветер ревел в огромном черном лесу.

Иногда Луциан предпочитал проводить свои часы и дни в винограднике, что раскинулся на пологом склоне холма неподалеку от моста. В тени лавра было устроено сиденье из серого камня, и здесь Луциан мог оставаться часами, застыв неподвижно, как статуя. Внизу текла рыжеватая речка, замыкавшая город полукольцом, и Луциан бездумно созерцал движение желтой воды, ее волнение и водовороты, возникавшие всякий раз, когда с юга надвигался прилив. По другую сторону реки высилось кольцо внешних стен, а здесь – блестел и переливался, словно королевская мозаика, город его грез. Луциан уже давно освободился от современного представления о городе как о месте, где живут и стараются заработать себе на жизнь человеческие существа, где они радуются или страдают. С его точки зрения, такие мелочи не имели никакого значения. В эту минуту для него не существовало ничего, кроме изменчивой желтизны реки, а потому город в глазах Луциана был всего лишь сокровенной жемужиной из его шкатулки. Ровные мраморные портики, белые стены вилл, храм, увенчанный обжигающей глаза медью, дробящийся на крытых отполированным камнем крышах свет, приглушенного красного цвета кирпичи, темные кроны вязов, лавров и кипарисов, пламенные розы, серебряные струи фонтана – все это соединялось воедино. Все детали картины дополняли и подчеркивали друг друга, и сам город казался цельным прекрасным украшением, в котором каждый оттенок был продуман вдохновенным мастером. Сидя в тени дерева и созерцая город сквозь просветы в разросшемся винограднике, Луциан не упускал ни одной подробности, радовавшей его глаз. Он впитывал тончайшие оттенки цветов, останавливал взгляд то на алой вспышке маков, то на каменной крыше, испускавшей матово-белый свет под лучами полуденного солнца. Квадратные посадки виноградника казались Луциану драгоценным зеленым камнем. Под рельефными листьями виднелись грозди, похожие на пурпурные винные пятна, пролитые на ровный темно-зеленый ковер. В листьях лавра таилась нефритовая прохлада; сады, полные красных, золотых, голубых и белых цветов, переливались в солнечном мареве, словно огромный опал; река напоминала ленту из старинного золота. По обе стороны города, обрамляя и подчеркивая его хрупкую прелесть, нависали черные леса, над которыми простиралось темно-синее небо с редкими вкраплениями нежно-белых и пушистых, словно первые снежинки, облаков. Эти цвета напоминали Луциану красивую стеклянную вазу с его виллы – основа вазы имела столь же ослепительно-синий цвет, и, когда она была еще горячей, художник вплавил в нее частички ярко-белого стекла.

<sup>4</sup> «Вот к тому же и Либер прибыл, оруженосец и побудитель Венерин». Перевод М. Кузмина.

Картина, открывавшаяся сквозь просветы в винограднике, на многие часы приковывала к себе взор Луциана. Откинувшись на спинку скамьи и опираясь на локоть, он созерцал город, переливавшийся в солнечном свете, до тех пор, пока на холмах не собирались пурпурные тени и протяжный зов трубы не созывал легионеров на ночную стражу. Тогда, чуть пригнувшись, Луциан медленно проходил между шпалерами кустов. Яркие кусочки городской и небесной мозаики то и дело высвечивались между кронами деревьев, город окутывался густым туманом, сквозь который тут и там проблескивала белизна стен; сочная, глубоких тонов дымка скрывала сады. В такие вечера Луциан возвращался домой, уверенный, что сумел полноценно прожить день, насытив каждую его минуту острым наслаждением и прелестью цвета.

Частенько он устраивался на ночь в саду возле своей виллы – на мраморном ложе, застеленном мягкими подушками. На столике у локтя Луциана стоял светильник, в рассеянных лучах которого было видно, как сонно переливается вода в бассейне. Кругом царила полная тишина, нарушаемая лишь несмолкающим напевом фонтана. В эти долгие часы Луциан предавался размышлениям, все больше убеждаясь, что стоит только пожелать – и человек может в совершенстве овладеть всеми своими чувствами. Именно этот смысл скрывался в чарующих символах алхимии. Несколько лет назад Луциан прочел множество книг, уцелевших со времен алхимии позднего Средневековья, и уже тогда начал догадываться, что алхимики преследовали иную цель, нежели превращение меди в золото. Это впечатление усилилось, когда он заглянул в «*Lumen de Lumine*» Вогена. Луциан долго ломал себе голову понапрасну в поисках разумного объяснения загадок герметизма, пытаясь понять, что же на самом деле представлял собой «прекрасный и сияющий, как солнце» красный порошок. В конце концов разгадка, очевидная и в то же время изумительная, озарила его во время отдыха в саду Авалона.

Луциан понял, что ему открылась древняя тайна и отныне он владеет колдовским порошком, философским камнем, превращающим все, чего ни коснется, в чистое золото – золото изысканных впечатлений; разобравшись в символах древней алхимии, Луциан теперь знал, что такое тигель и атанор, что означают «зеленый дракон» и «благословенный сын огня». Он знал также, почему непосвященных предупреждали о предстоящих им испытаниях и опасностях, и упорство, с которым посвященные отказывались от земных благ, больше не поражало его. Мудрец проходит испытание плавильной печью не для того, чтобы соперничать с фермером, разводящим свиней, или крупным промышленником. Ни яхта с мотором, ни охотничьи уголья, ни полдюжины ливрейных лакеев не добавят ни капли к полноте его блаженства. И вновь Луциан в упоении повторял:

– Только в садах Авалона царит подлинное наслаждение!

Под нищенским покровом повседневности он научился распознавать подлинное золото, сокровище пленительных мгновений, средоточие всех красок бытия, очищенных от земной скверны и хранившихся в драгоценном сосуде. Лунный свет озеленил струи фонтана и причудливой работы мозаичный пол. Луциан неподвижно лежал в сладостном молчании ночи, и сама мысль его была изысканным наслаждением, которое великий художник мог бы передать красками своего холста.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.